А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН

ЗВЕЗДА МАИР



«ПОИСКИ»

А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН

ЗВЕЗДА МАИР

«ПОИСКИ»

Editions «Poïski» 2, rue Henri Koch,
94000 Créteil, France

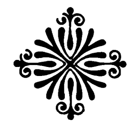
Светлой памяти дорогого друга
Валерия Яковлевича Тарсиса
– первого читателя этой книги.

"ЗВЕЗДА МАИР СИЯЕТ
НАДО МНОЮ.
ЗВЕЗДА МАИР.
И ОЗАРЕН ПРЕКРАСНОЮ
ЗВЕЗДОЮ
ПОДЗВЕЗДНЫЙ МИР".

Федор Сологуб

АРКАДИЙ ЛЕВУШИН

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РУКОПИСИ XX ВЕКА



ПЕТРОГРАД

Две тысячи сто восемьдесят второй год

Издание "Новая Academia"

АРКАДИЙ ЛЕВУШИН

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РУКОПИСИ XX ВЕКА



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящая книга представляет собой собрание фрагментов, которые были найдены при раскопках в городе Петрограде в 2181-ом году.

Фрагменты относятся к концу XX века

Автор фрагментов Аркадий Левушин.

Про него мы ничего не знаем.

Как видно из уцелевших фрагментов, он был уроженцем и жителем Петрограда. По профессии

был учителем. Как-то был, видимо, связан с церковью. И был верующим человеком.

Он жил в XX веке.

Вот и все, что про него известно.

Но от той эпохи так мало осталось, ибо все памятники этого бурного века погибли в бурях войн и революций XXI века, что мы сочли нужным опубликовать данные фрагменты, сопроводив их комментариями одного из виднейших специалистов этой не столь отдаленной, но такой таинственной для нас эпохи.

5-го октября
2182-го года.
Петроград

* * *

Вступительная лекция к курсу истории России XX века в Петроградском университете 1-го сентября 2181 года.

Дорогие друзья!

Мне доставляет особое удовольствие приветствовать вас, съехавшихся сюда из разных стран объединенного мира. Конечно, для многих самая наша дисциплина является анахронизмом.

Какой, собственно, смысл заниматься историей отдельных стран, когда самое понятие суверенного государства, нации, умерло. Не надлежит ли памятники этого далекого прошлого отправить в Ар-

хеологический музей или в старинные архивы, где они займут свое место рядом с манускриптами, найденными в египетских пирамидах, и пандектами Сената древнего Рима.

Однако древнее всегда связано с настоящим. Чтоб убедиться в этом, достаточно пройтись по улицам этого города. На Стрелке Васильевского острова вы увидите величественный обелиск, изображающий русского молодого человека в кепке и древней одежде рабочих (так называемом комбинезоне), поднимающего бело-красно-черное знамя и топчущего миниатюру Кремля – памятник освобождения России, воздвигнутый в честь столетия Четвертой Русской Революции в 2110 году. Уже эта революция стала для нас далеким, хотя и священным преданием. И даже странно вспомнить, что ставшее для нас привычным бело-красно-черное знамя когда-то вызывало яростные споры и из-за него лилась потоками кровь.

Многие сейчас уже даже не помнят, что означало это чередование цветов. Белый цвет – цвет духовной чистоты, красный цвет – цвет крови, пролитой в борьбе за освобождение, и черный цвет, который когда-то считался цветом анархии – эмблема того, что с государственной властью отныне покончено навсегда.

В то же время этот флаг показывал прошлое, настоящее (тогдашнее настоящее, а ныне уже давно прошедшее) и будущее тех громадных территорий, которые тогда назывались Россией, потом Советским Союзом, потом опять Свободной Россией, а

ныне называются Гиперборейской Провинцией Планетарной Республики.

Белый цвет — это цвет старой Российской Империи — точнее, один из ее трех цветов, — но который стал символом многих героических, но нелепо консервативных людей, лелеявших фантастическую идею восстановления старой русской империи и даже монархии.

Красный цвет — символ советского периода. Под этим знаменем сражались также многие энтузиасты, веровавшие в то, что путем диктатуры, пыток, расстрелов можно построить счастливое будущее. И наконец, черный цвет, под знаком которого гибли миллионы людей, борющиеся против того, что сейчас представляется нелепым призраком, против так называемого "государства", ныне растворенного в свободном, объединенном международном сообществе.

А рядом с этим памятником — маяки, воздвигнутые в свое время основателем этого города Петром I. Маяки, которые должны были освещать путь кораблям. И дальше переход через мост — сразу после моста, на набережной имени Андрея Сахарова — фигура, отлитая из бронзы, в 5 раз выше человеческого роста, фигура великого русского гуманиста. Сахарова.

Скульптору удалось великолепно соединить портретное сходство с устремленным в будущее порывом величайшего идеалиста XX века. Правая рука поднята к небу, а левая — перелистывающая кни-

гу, как бы ищущая чего-то с рассеянностью ученого, с пытливостью изобретателя.

А через несколько метров – Медный Всадник, совершенно такой же, каким описал его Пушкин в своих бессмертных стихах, написанных на теперь уже мало кому понятном русском языке XIX века. А против Финляндского вокзала все еще высится памятник (довольно аляповатый) Ленина.

Как известно, в XXI веке в Петроградском Городском Собрании были бурные дебаты о судьбе этого памятника, причем ряд лиц предлагали его снести. Однако, большинство постановило этот памятник сохранить, ибо огромное историческое значение Октябрьской революции, перевернувшей мир, не вызывает сомнения, а в 2010 году Октябрьская революция послужила в какой-то степени примером (правда, миниатюрным) для четвертой русской революции, перешедшей затем во всемирную.

В то же время этот памятник является примером того, как благие намерения приводят к ужасным последствиям, когда люди не руководствуются Евангельским учением, что является основой истинного благодатного общества, которое наши предки именовали иной раз социализмом, иной раз коммунизмом, иной раз анархией. Рассказ "На Васильевском Острове" о событиях, происшедших в этом районе свыше 200 лет назад, является прекрасной иллюстрацией этого положения. Самоубийства благородных людей, духовное угасание других – такова расплата за отступление общества от Христа.

СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ

Это было весной 1932 года. Ранней весной.

Екатерина Николаевна Елизарова – учительница русского языка 213-ой школы – только что проснулась.

Пора было вставать, 5 часов утра. Но перед этим надо было еще проверить сочинения. Но страшно не хотелось вставать. Где-то скрипнула половица. "Старый паркет, еще помнит времена графини Паниной, хозяйки этого дома", – подумала Екатерина Николаевна.

Рядом храпел муж. "Хорошо спит, любит поспать, – подумала она, – купеческая закваска. У него и у его сестры. Грубоватые, но крепкие".

Зазвонил будильник. Екатерина Николаевна поднялась. Накинула халат, пошла умываться на кухню.

"Здавствуйте, Екатерина Николаевна", – сказала Настя, старая работница, когда-то служившая горничной у Паниных, ныне работающая на кондитерской фабрике.

"Здравствуйте, Настя", – сказала Екатерина Николаевна. Умылась, развела примус, поставила

чайник. Вошла в комнату. К письменному столу. Тихо, чтоб не будить мужа и сына. Включила настольную лампу. Привычным движением взяла тетрадку.

Первая тетрадь – неряшливая, с кляксой на обложке. Екатерина Николаевна поморщилась; вид неряшливой тетради действовал на нее болезненно. Надпись на тетради: Аркадий Левушин. "Чудак", – подумала Екатерина Николаевна. Потянулась. Вот скука. Тридцать тетрадей. И тема-то. Это надо додуматься: в советской школе среди русских ребят, в седьмом классе, вдруг Эптон Синклер. Роман "Джунгли". Открыла последнюю страницу Аркашкиного сочинения. На последней странице слова из Интернационала: "Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой".

"Ого! – подумала Екатерина Николаевна, – богомол-то начинает исправляться. Давно бы так".

Открыла первую страницу. Тут на лице – гримаса. На первой странице значилось: "Сочинение на тему: Рабочий класс по роману Эптона Синклера "Джунгли".

"Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир, но люди возлюбили
более тьму, нежели свет, потому что
дела их были злы".
Евангелие от Иоанна. 3, 19.

Первая мысль: дурак, не понимает, как подводит учителя.

Красным чернилом написала на полях: "При чем здесь цитата из Евангелия?". Но потом начала читать. Сочинение интересное. Мальчишка смышленый. Суть произведения уловлена хорошо. Написано сжато, кратко. Девушка, которая становится проституткой. Спивающиеся рабочие. Тьма. И борьба за свет. Свет как нравственное преображение. И конец: Встанут люди и скажут – борьба с тьмой, за царство света, за освобождение. "Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!"

Какой все-таки интересный конгломерат христианства с социализмом. Оригинальный все-таки парень. Что ему поставить?

Ничего не поставила, написала красным чернилом: "Необходимо переговорить".

В это время проснулся муж, спросил: "Сколько времени?" Взглянув на часы, сказала: "Шесть. Чай, верно, готов". Пошла на кухню. Выключила примус. Сказала заспанному мужу, который надевал брюки: "Коля! Посмотри сочинение. Оригинальное. Но не знаю, что с ним делать".

Николай Сергеевич, тоже учитель, прочел, усмехнулся и сказал:

"Парнишке надо снять штаны и высечь, чтоб не подводил учителя. Но все-таки, какой молодец. Есть еще, оказывается, хорошие парни среди этой сволочи. Вот уж не думал".

Екатерина Николаевна принялась за проверку других сочинений. Проверяла быстро: наметанный учительский глаз быстро замечал ошибки, пропу-

щенные запятые. Содержание сочинений было трафаретное. Пересказ урока.

Между тем муж оделся, умылся, разбудил сынишку, накрыл на стол. Позвал жену: "Катя, чай пить!" Подошла, разлила чай, сделала замечание сыну, что не приготовил урок. Тот состроил гримасу. Родителей он не боялся. Екатерина Николаевна подумала: "Учительские дети! Самые разболтанные и невоспитанные из всех! Сапожник всегда без сапог".

А потом сказала сыну: "Слушай, я думала, что если это сочинение прочесь в классе вслух..."

"Ты с ума сошла, с тебя же шкуру снимут".

"Под особым углом зрения. С комментариями. Все-таки хочется, чтоб ребята как-то расшевелились. Нужна форточка!"

"Дадут тебе форточку. Впрочем, как знаешь!"

"Возьму и прочту!" – сказала Екатерина Николаевна. Она была решительная женщина.

* * *

213 школа помещалась на углу 12 линии и Большого Проспекта. Когда-то в этом здании было 1-ое Реальное Училище Петербурга. При училище была церковь. Церковь славилась чудесным хором, составленным исключительно из мужских голосов.

Пели реалисты. Среди них был мальчик: Семенов-Тянь-Шанский, внук великого путешественника, жившего также на Васильевском, на 8-ой линии, умерший в возрасте 90 лет в Париже, в сане епископа. Преосвященный Александр, Епископ Зилонский.

Здание когда-то блистало чистотой. Но от всего этого в тридцатые годы не оставалось и следа.

Все было замусорено до последней степени. Орава мальчишек и девчонок, неряшливых, плохо одетых, обшарпанных, крикливых, заняли огромное здание. Учителя, так же плохо одетые, как ученики, растерянные, имевшие затравленный вид, чему-то учили, точнее, пытались учить, ибо наладить настоящую учебу в таком сумбуре было немыслимо.

Правда, ребята из рабочих семей, где отцовский ремень не потерял свои права, были в общем не особенно разбалованы, справиться с ними было можно.

Но ведь сорок, сорок пять человек в классе, – и учителя должны были иметь невероятную нагрузку – по 10-12 часов в день, чтобы прокормиться. Установки сверху менялись каждый день: то комплексный метод, то бригадно-лабораторный, то еще шут знает что – кавардак невероятный.

Наладь-ка тут что-нибудь, научи-ка чему-нибудь. Но все-таки учили. Хорошо, если учитель имел твердый характер, его ученики уважали, а если нет – это мученики. Была одна учительница немецкого языка, Гильдегарда Георгиевна. После ее призыва к тишине девочки из лучших побуждений стали хором призывать к тишине, выкликать: "Ти-ши-на!" Весь класс подхватил.

Это так понравилось, что весь урок выкликали точно загипнотизированные, в каком-то трансе: "Ти-ши-на!"

Бедная Гильдегарда Георгиевна беспомощно металась из угла в угол, – говорила: "Вы сумасшедшие! Вы сумасшедшие!"

Результаты такой учебы один из учеников, проживающий сейчас в немецкой Швейцарии, ощущает каждый день. Учиться немецкому, получать тройки, – и так его и не знать, это надо умудриться.

Екатерина Николаевна – не то. Ее уважали. Объяснять она умела, и только благодаря ей Аркадий постиг сложную науку – что такое причастный и деепричастный оборот.

И вот, в этот день она явилась в седьмой класс (в то время, весной 1932 года, это был выпускной класс) с кипой тетрадей. Класс был по своему составу очень пестрый. На первых партах расположились три девочки в комсомольских кителях, подпоясанных ремнями, говорливые, нахальные, объединившиеся в группу под названием "смычка". Среди них еврейка Лиля Ботвинник, мать которой работала бухгалтером.

Басалаева – девица, широколицая, блондинистая, напоминавшая заведующую магазином. И третья – Думова, девочка скромная, молчаливая, которую взяли для ровного счета, игравшая роль адъютанта при двух "руководительницах" смычки.

Мальчишеская компания была очень пестрой. Здесь и шестнадцатилетние здоровенные лбы, которые прямо с парты пошли на завод "Красный гвоздильщик" (шеф школы).

Но были и интеллигенты. Дима Головин – сын учительницы. Из хорошей дворянской семьи. Умни-

ца. Способный. С карьеристским зудом. Кудрявый, красивый, впоследствии сделавший блестящую карьеру. И два слюнявых интеллигентика: профессорский сынок, легкомысленный, щеголь, подловатый, липший к хулиганью.

И другой – сын эмигранта, внук известного художника.

Умный, развитой, но с каким-то чувством неполноценности, с комплексом недостаточности.

И сынок крупного коммуниста – русского мужичка и матери-еврейки. Хороший парень, непосредственный и правдивый.

Мишка Васьков – рабочий парнишка, веселый, простой и недалекий. И среди них пан Пилсудский – "диво заморское", Аркашка – притча во языцех.

Церковник, и в то же время бунтарь, индивидуалист. Екатерина Николаевна все же колебалась – читать ли его сочинение вслух. Она раздавала тетради, разбирала ошибки. Когда речь дошла до злополучного сочинения Левушина, сказала: "Требует особого разговора".

Послышались голоса: "Самое лучшее или самое худшее?"

Она ответила: "Самое лучшее в кавычках". И решила прочесть сочинение вслух. Стала читать. Всеобщее изумление. Широко раскрытые глаза. В притихшем классе советской школы прозвучали евангельские слова.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

Он учился вместе с Аркадием в Педагогическом техникуме. (В 30-е годы так называлось Педагогическое училище).

Отец – из поляков – рабочий. Старый питерец. Мать – простая, грубоватая, немного вспыльчивая.

Здоровенный парень, веселый, вежливый, – техникум вечерний. Он работал сначала учителем, потом завхозом. Старше Аркадия на 6 лет.

"Аркадий! Так что же мы с тобой киснем? Зайдем в пивную". – "Да денег нет".

"Ну да, ты папенькин сынок, но я ведь трудящийся. Сегодня получка. Закутим".

"Спасибо, раз так".

Пивная ленинградская. 1935 год. Потолки низенькие, запах – хоть святых выноси. За каждым столом 5-6 мужиков. Сидят впритык. Официантка с подвязанным глазом, под другим глазом синяк, – это от благодарных посетителей. Разносит пиво пенистое, доброе. Пьют без закуски. Для особо взыскательных посетителей – порция – по два куска засохшего сыра, колбасы.

Завидел Тольку Витковского и Аркашку ста-

рый пивной завсегдатай – учитель из соседней школы, у которого когда-то учился Аркашка. Подсел к столу. С ходу начал читать стихотворение:

"В светлый праздник Покрова,
Помоляся Богу, –
Все теперь нам трын-трава, –
Выйдем на дорогу.
Есть поллитра на двоих.
Есть обычай русский.
За здоровье всех святых
Выпьем без закуски".

– Вы все, Михаил Константинович, со стихами.

– Все со стихами. Уже такая моя планида. Вот и сейчас в подражание Сашке Блоку сочинил "Стихи о бледной стерве".

– Это посвящение жене?

– Ну, в основном, конечно, жене, но и не только – сколько у меня их было. Я ведь мужчина на ять. Не то, что вы, кисляи, – вы ведь не мужчины. Так себе – книжные черви, гермафродиты.

– А кто мужчина? Вы, что ли?

– Еще бы!

– Никакой Вы не мужчина.

– А кто же?

– Так себе. Пивная плесень. И стихи не мужские. Ну, как называется Ваша главная поэма?

– Так и называется: "Великий закон менструаций".

Витковский: ”А что, здорово придумано — закон менструаций, разве плохо?”

— Вообще-то говоря и вправду неплохо. Только все-таки, Михаил Константинович, ну какой Вы мужчина? Так себе, принадлежность обстановки пивной. Вот, допустим, как этот фикус.

Аркадий указал на чахлый цветок в горшке, стоящий на подоконнике.

— А учитель? Что я, плохой учитель?

— Да, учитель Вы были, вообще говоря, неплохой. Но ведь все на палочной дисциплине. Чуть что не так, за шиворот и из класса. И выражения шпанские: ”Пшел вон”, ”стоеросина”, ”дешевка” — и мата хоть и нету, но он на кончике языка. Мы ожидали: вот-вот сорвется.

— Так не сорвался же...

— Не сорвался. А мужчина — не то, мужчина должен быть строгий, сдержанный, молчаливый. Ну и, конечно, когда нужно, и горячий.

— Это ты-то, щенок, что ли мужчина?

— Ну, а ты, учителишка несчастный, мне не хами.

И схватил пустую кружку.

Витковский:

— Аркадий! Аркадий! Мужчина! Только что проповедовал сдержанность, мужское хладнокровие. А сам что творишь? И пьян уже с двух кружек.

— Ну ладно, извиняюсь.

Учитель: ”Не извиняюсь, а извините, товарищ ученик, — учитесь говорить по-русски.

Беседа приняла более мирный характер.

– Выпьем еще.

Выпили еще.

Витковский: – Ну что ж, Михаил Константинович, куда Вы сейчас пойдете?

– Толик, пойдем со мной. Я ведь сейчас на Голодай*. Там у меня баба, работница одна – хорошая баба, и у нее племянница, – это для тебя, хорошая девка, жениха ищет.

– Студентка?

– Пока еще нет, приехала из-под Пензы. У тетки прописалась. Пойдем.

– А Аркаша как? С нами?

– А зачем? Он доволен своим обществом.

– А, вообще говоря, правда: он слишком занят собой, чтоб ходить по девкам.

Аркашка выпил еще кружку. Размяк. Он не был хамом. И из интеллигентной семьи. Ему уже стало неловко за свою стычку; все-таки Михаил Константинович – старик, да еще учитель.

Встали. Витковский расплатился. Вышли, Аркадий обратился к Михаилу Константиновичу:

Ну Вы меня простите.

– Прощаю. Пока.

Анатолий смущенно сказал:

Ну извини, Аркаша, так вышло: мы на Голодай.

– Пожалуйста.

И Аркадий остался один.

* * *

---

* Остров Голодай, отдаленная питерская окраина. У взморья Финского залива.

Он привык быть одним. Рос он с двоюродными братьями. Но когда ему было 14, пути его с братьями разошлись. Ни с кем он близко не сходился.

Всегда один. Отец говорил: "Ну, найди себе кого-нибудь. Нельзя же так. Молодой парень и никого. Ни одного приятеля".

Аркадий в ответ отмалчивался. Были у него друзья из церковных кругов, но отец о них не знал. И сейчас Аркадий отправился в свой обычный путь. По набережной. Сначала с 8-ой линии, к Николаевскому мосту, к Набережной лейтенанта Шмидта. Из всех новых названий Аркадий признавал только это. Уж очень симпатичен был ему бунтарь-лейтенант. Затем, перейдя через улицу, миновав мост, по гранитной набережной. Тьма тьмущая. Нигде ни одного фонаря. Ветер. Осенний питерский ветер. Темная, темная Нева. Прошел мимо мрачных сфинксов, привезенных, как гласит надпись: "Из древних Фив в Египте", при Петре.

Мимо университетских зданий, мимо Зоологического музея, мимо Фондовой биржи и через Двоцовый мост, на тот берег Невы. Снова к мосту лейтенанта Шмидта и через мост. "Кругосветное путешествие".

И почувствовал Аркадий нечто знакомое. Сказал себе: "Начинается!" Это была тягчайшая тоска. Она сваливалась. Давила физически. Ощущение странное, свойственное только в юности.

Аркадий вдруг поймал себя на том, что повторял стихотворный текст:

"Ох, как сердце мое тоскует.
Уж не смертного ль часа жду.
А та, что сейчас танцует,
Наверное будет в аду".

Повторял и повторял. Начинал, кончал и опять повторял.

– Что это со мной, уж не схожу ли я с ума?

"Ох, как сердце мое тоскует,
Уж не смертного ль часа жду..."

– Чего зазевался? Не видишь, куда идешь? – брякнул прохожий, с которым столкнулся Аркадий.

– Извини.

"А та, что сейчас танцует,
Наверное будет в аду".

Ну что же? Отчего такая тоска? Все идет как надо. Церковь. Надо обновлять. Излечивать ее язвы. Очищать от тысячелетней пыли и плесени.

"А та, что сейчас танцует..."

Социализм? Его тоже надо обновлять. Кто будет обновлять?

"Наверное будет в аду".

"Ох, как сердце мое тоскует..."

– Молодой человек, мы с Вами, кажется, знакомы. Что Вы шатаетесь по ночам и бормочете?

"Уж не смертного ль часа жду?"

– Что-о? Какого смертного часа?

Аркадий взглянул.

Перед ним стоял человек, по виду незнакомый, но вызывавший какое-то смутное воспоминание.

– Что, не узнаете?

– Извините, не узнаю.

– А я вас знаю давно. По Киевскому подворью. Вы ведь ходили туда еще малышом. Мы все Вас знали. Всегда у всех диаконов орари целовали. А сейчас, что Вы, где Вы?

– Ничего. Учусь в техникуме.

– А церковь? Ходите?

– Да, хожу. Но сейчас я больше в Андреевский Собор.

– А, к Платонову. Значит, обновленцем стали?

– Да, обновленцем.

– Зря. Куда сейчас идете? И пивом от Вас разит. Но, кажется, не пьяны.

– Да нет, не пьян. Так просто хожу.

– Я тоже вышел пошататься.

Так чего же это Вас к обновленцам угораздило?

– Я много читал. Думал. Увидел, что церковь надо обновлять. Очищать от плесени.

– Это правда, надо. И Вы думаете, Платонов с Введенским для этого подходящие люди?

– Думаю, что да. Я никого не идеализирую, но они начали. Положили камень. Первый камень.

– А Вы второй?

– Да, я тоже хочу принести камень. Каждый по камню. Так будет созидаться Храм Бога живого.

Аркадий почувствовал, что тоска исчезла. Как рукой сняло. Он говорил быстро. С увлечением. Живо.

— А смирение где? Вы себя считаете лучше других?

— Да, смирения у меня нет! — быстро согласился Аркадий, — но дело не во мне. Я лишь слуга. Слуга строптивый, ленивый, горячий. Вот и сейчас я оскорбил человека, который старше и, быть может, лучше меня. Но ведь хоть и плохой, но все-таки хочу работать на Ниве Господней.

— А при чем тут "смертный час"?

— Какой смертный час?

— А Вы мне сказали, когда я Вас окликнул, что смертного часа ждете.

— А, это я про себя повторял стихотворение Ахматовой; и машинально сказал вслух.

— И сейчас как-то возбуждены. Голубчик, я Вас помню совсем малым. Ребенком. Вы и тогда были страшно возбудимым. Из дома убегали. И молились как-то странно. Отключались. Дорогой мой! Вспомните слова Христа: "Мир Мой оставляю вам! Мир Мой даю вам!" А у Вас мира нет в душе. Ищите его.

— Но как?

— А я не знаю как. Больше молитесь. Чаще причащайтесь. А у меня самого мира нет, — неожиданно закончил он.

Аркадий здесь впервые внимательно вгляделся в него. Интеллигент. Тонкие черты лица. Бородка. Блондин. По возрасту лет пятидесяти.

— Вы, значит, тоже были прихожанином Киевского Подворья?

— Тоже. Я хотел стать священником. Но события помешали. И тоже мира нет в душе. Тяжело жи-

ется. Вы вот Ахматову про себя повторяете. А я скажу по Пушкину:

"Я разлюбил свои желанья,
Я пережил свои мечты,
Остались мне одни страданья,
Следы сердечной пустоты".

– Вы работаете?

– Сторожем. А сам из-под Пскова. Из бывших. Старый псковский помещик. Ну, будем знакомы: Корсаков.

– Но почему же сторожем?

– Ну, а кем же? Специальности у меня нет. Семья наша религиозная, патриархальная, старозаветная, – окончил я псковскую гимназию. И баста. Дальше не пошел. Вот живем вдвоем с матерью.

Он приятно картавил. Манѐры неторопливые, мягкие. Одет был в старую, поношенную, много раз чиненную кацавейку.

Аркадий почувствовал к нему симпатию, сказал:

– Извините, Ваше имя-отчество?

– Николай Васильевич.

– Тезка Гоголя?

– Да, Гоголя. Между прочим, Вы чем-то напоминаете Гоголя.

– Но чем же?

– Религиозностью. Метаниями. И Вы, как он, глубокий истерик.

– Почему Вы думаете?

– Это бросается в глаза. Смотрите, Вы можете кончить, как он. Сумасшествием.

– Да он вовсе не был сумасшедшим, это все сплетни. Ну а потом, я ведь не сожгу "Мертвых душ". Не написал.

– Но напишете. Голова на плечах есть. Я всегда инстинктивно чувствую. Но сумасшествия остерегайтесь. Вы глубокий истерик. Кстати, знакомы Вы с Всеволодом?

– Каким? Иподиаконом?

– Да.

– Ну как же. Давно.

– Хотите, поедем к нему. Он меня звал к себе.

– А куда?

– На Голодай.

– На Голодай? – Аркаша вытаращил глаза, – совпадение.

– Да, сейчас как раз время – 8 часов. На четверку, и до Смоленского. А там 15 минут ходьбы.

– А удобно? Он ведь меня не звал.

– Удобно. Мы же свои люди. "Завсегдатаи ризниц",– как говорил Анатоль Франс.

– Ну что же, поедемте.

– Дело в том, что там сегодня решительный день.

– Что такое?

– Он приводит в дом в первый раз будущую невесту. Показать родителям. И меня тоже звали как консультанта. Дать родителям отзыв о невесте.

– А кто невеста?

– Наша, церковная. Сонечка Иванова. Вы ее, верно, знаете.

– Не помню.

* * *

Остров Голодай. Тогда это была самая унылая местность в мире. За кладбищем. Исстари здесь зарывали павший скот, хоронили самоубийц, казненных преступников.

По преданию здесь нашли себе последний приют казненные декабристы: Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев и Каховский. Как можно предполагать, здесь же похоронены тела казненных народовольцев: Каракозова, Желябова, Софьи Перовской, Кибальчика, Рысакова. Во время красного террора сюда свозились жертвы ЧК.

Остров был на взморье. Отсюда начинается Финский залив. И прямо на берегу, совершенно одиноко, окнами на залив, большой двухэтажный дом. Знаменитого художника Николая Николаевича Ге, чьи картины – последних дней земной жизни Христа, потрясли в конце XIX века Россию, доставили художнику горячего поклонника Льва Николаевича Толстого, до сих пор потрясают тысячи людей в Третьяковке и в Русском Музее.

В это время дача принадлежала сыну художника – также известному актеру Александринского театра, драматургу и режиссеру, который уже много лет лежал здесь разбитый параличом. А поодаль деревянные дома, появившиеся уже в 20-е годы, – в них жили рабочие, питерская беднота, но и нэпманы, построившие здесь дома за бесценок, так как селиться здесь было мало охотников.

Летом в Финском Заливе купались – был здесь песчаный пляж. Пользовался и в этом отношении Голодай дурной славой. На дне были ямы, – люди проваливались в них, вода их затягивала, то и дело здесь тонули.

Остров известен еще во времена Петра I. Тогда земля принадлежала немцу Holdai – от перевранной фамилии которого пошло название местности. По преданию здесь, в пустынной местности, молилась, стоя босыми ногами в снегу, длинными питерскими ночами, народная святая Блаженная Ксения, уходя по ночам с кладбища, где она скиталась днем.

Мрачно здесь было: резкий ветер, идущий с залива, который вертел в воздухе вздымавшийся снег, – абсолютное безлюдье, близость кладбища. Сюда пришли этим вечером два человека, познакомившиеся час назад.

Шли через Остров туда, где светились огни, где были дома, где жили люди.

* * *

Двухэтажный дом. Калитка. Звонок. Открывается. Вот он, Всеволод. Милый, милый Всеволод, умерший через несколько лет в лагерях. 23 года. Худой. Длинное смуглое лицо. Прическа старомодная, – с заросшими висками. Завидел Аркашку. Просиял: ”Вот это номер. И ты тут как тут”. Взял за пальто, притянул к себе, троекратно братски поцеловались. Потом с Николаем Васильевичем.

Николай Васильевич, указывая на Аркадия:

"Встретил его на набережной. Ходит и бормочет что-то. Решил привести".

– И прекрасно. Хоть обновленец, но ведь хороший парень и старый друг.

Поднялись на второй этаж.

Снизу слышались пьяные голоса. Гитара. Там, видимо, было весело. Николай Васильевич спросил:

– Что там у Вас? Пьянка?

– Что поделаешь. Соседи. Мы ведь наверху. Нам принадлежит только верхний этаж.

Поднялись. Большая комната, – посредине стол, прикрытый белой скатертью.

За столом старик с окладистой бородой, – парализованный – дедушка. И напротив в кресле Владыка. Преосвященный Амвросий, Епископ Лужский, Наместник Александро-Невской Лавры. С большой шатеневой бородой, в подряснике, подпоясанном по-монашески ремнем. Высокий. Рядом женщина чернявая – мама Всеволода. А на диване девочка лет 18-ти. Со свежим, румяным лицом. В синем платье. Ее Аркаша много раз видел в церкви и с ней разговаривал. Издали насмешливо посмотрела, кивнула головой, улыбнулась. А Аркашка, увидев Владыку, до того смутился, что прирос к месту, густо покраснел и не мог вымолвить ни слова. Этого он никак не ожидал. С ужасом вспомнил, что от него разит пивом, – и что сейчас надо будет подойти под благословение к Владыке, и что он сразу почует.

Всеволод, однако, с обычным, непосредственным видом, потянул Аркадия за рукав: "Ну не смущайся, иди, иди к Владыке на расправу". Владыка

засмеялся, привстав, благословил Аркашку, – тот, поцеловав руку Владыки, полуживой от смущения, поклонился епископу в пояс. Затем подошел под благословение также Николай Васильевич. Поздоровавшись с мамой и с дедушкой Всеволода, Аркаша уселся рядом с Сонечкой на диване. А Николая Васильевича посадили за стол – вместе со стариками.

Всеволод сел в углу у дверей.

Владыка между тем продолжал разговор с дедом: "Да, хороши наши либералы. Долиберальничались. Я ведь был гласным в Калуге, в земстве, – мы (нас меньшинство) хотели проводить конструктивную политику, но каждый раз наталкивались на кадетскую оппозицию. Что бы мы ни предложили (хотя бы низвести с неба золотой дождь), – заранее знали: либералы провалят. Ничего конкретного провести было нельзя. Я пытался, пытался – наконец плюнул. Съездил в Оптину Пустынь, посоветовался со старцами, – продал имение, подал в отставку и переехал в Питер.

– Как же, помню, – сказал дедушка, неясно выговаривая слова, правая часть тела была парализована, – Вашу адвокатскую контору на Невском. Вы ведь были больше по бракоразводным делам.

– Было такое дело, – сказал Владыка, а потом, обратясь к Аркашке:

– Ну, а ты, мой дорогой посохоносец, как поживаешь? Как твой папенька, все в таком же ужасе от твоих приключений? Мы с ним тогда поругались, но я почувствовал, что он тебя безумно любит. – В

детстве Аркашка был в Лавре посошником у Владыки.

В один из побегов Аркашки из дому его искал отец. И здесь, в Лавре, столкнулся с Владыкой. Отец упрекнул архиерея за то, что он допускает мальчишку прислуживать в школьное время, отвлекает его от учебы. Владыка резко ответил: "Я не полицейский. Я не обязан никого задерживать".

И пошла катавасия: "одна задериха, другая неспустиха", – оба юриста (Владыка Амвросий был по образованию так же юрист, как и отец Аркадия) крупно поговорили, побранились.

Аркаша густо покраснел и в ответ хмыкнул что-то неразборчивое.

Всеволод засмеялся. "Да не смущайся ты так: Владыка же не кусается. Вот, давайте лучше выпьем за здоровье Владыки и гостей".

Владыка: "Так пили уже".

– Ну, теперь по новенькой. Ведь гости новые пришли. Вот берите пример с соседей. – Снизу слышалось пение пьяными голосами и игра на гитаре.

Появился коньяк, черная икра, рыбная закуска. Всеволод пригласил Аркашку и Соню к столу. Налил Аркадию и положил ему закуску, сказал: "Мажь хлеб маслом. А то сразу охмелеешь".

Владыка спросил: "А он бывает пьяным? Не представляю".

Всеволод: "Зато я представляю. Хмелеет он с одной рюмки и начинает болтать без умолку.

– Но о чем же?

– О своей великой миссии. О переустройстве Церкви и мира.

– Тогда пусть пьет. Послушаем, узнаем, как он будет переустраивать мир.

– В Калуге от кадетов, в Питере от эсеров, в Соловках от арестованных меньшевиков и анархистов я обо всем этом слышал.

– Да нет! Он не анархист, а обновленец и христианский социалист.

При этих словах парализованный дедушка, мама Всеволода и Сонечка беспокойно зашевелились и с любопытством, смешанным с опаской, взглянули на Аркадия.

Владыка протянул Аркадию бокал: "Ну что ж, за твое здоровье, социалист. Расскажи нам, что с тобой такое произошло: как это мой посошник и послушник (ты ведь собирался к нам в послушники) стал социалистом и обновленцем?"

Владыка чокнулся с Аркадием. А Аркадий, опрокинув залпом (от смущения) бокал, в самом деле мгновенно охмелел и, как и предсказывал Всеволод, у него разом развязался язык. Начал он, впрочем, скромно: "Да нет, Владыко, Всеволод преувеличивает; он ведь у нас немного фантазер. Я остался совершенно таким же, как был, и если была хоть какая-нибудь возможность, – Лавра не была бы закрыта, не превратилась бы в простой приход, я бы пошел туда и попросил бы у Вас, Владыко, пострижения".

Владыка перебил: "Вот видишь, Всева, он попросил бы пострижения. А ты не попросил бы?" – И взглянул на Сонечку.

Всеволод: "Может быть и попросил бы. Но

ведь возможностей нет."

Сонечка здесь прервала молчание: – Так это что же, я горькая необходимость? Так, что ли?

"Ну, не обижайся, Сонечка, – сказал Владыка, – не всякое лыко в строку. Всева сейчас между двух огней: между монахом и невестой. Да еще тут и социалист примешался. Да еще полумонах-полусоциалист. Этот один – два огня. Значит, между четырех огней сразу".

"Ну, ну, продолжай, – обратился Владыка к Аркадию, заминая неловкость.

– Но я стал задумываться над тем, почему церковь у нас так быстро пошла на убыль, и я почувствовал, что это не случайно. Если народ отходит от церкви в таком огромном количестве, то значит, виноват не народ, а церковь. Народ русский – ведь все-таки чудесный, добрый, ищущий правду народ. Я люблю народ. Я душу отдам за народ! – вдруг воскликнул полупьяный Аркадий. (Всеволод за это время подлил ему еще коньяку).

За столом движение.

Дед зашевелился. Сказал со слезами на глазах: "Это хорошо, что Вы так любите народ".

Всеволод, подойдя сзади, взял Аркадия за плечи, сказал: "Это хорошо, что ты любишь народ. Но не увлекайся. Александр Македонский был великий человек, но стулья ломать все-таки не следует".

– Да, не следует. А ты ему не подливай, раз он такой увлекающийся, – сказала Сонечка.

– Ну и что же? – спросил между тем Владыка.

Аркадий продолжал: "Христос тоже любил народ. Он-то его и любил. И любит Он русский народ. Люб Ему этот народ. Люб и дорог. Своей простотой, своим стремлением к правде, своим безразличием к богатству. Христос отверг и осудил богатство. Отверг и осудил его и народ русский. Поэтому и Церковь Христова должна быть с народом. Также осудить богатство и всякую самозванную власть: царей, богачей, секретарей. Потому что всякая власть самозванная – человеку не дано иметь власть. Власть принадлежит только Богу. Сейчас в гонениях, в огне, в борьбе совершается новое крещение Руси. Огненное крещение. И этим крещением обновится Церковь, обновится Русь, наша чудесная святая Русь".

Аркадий порывисто вскочил, опрокинув бокал.

Всеволод схватил его за плечи, усадил, сказал, обращаясь к Владыке: "Каков вития!" У Введенского и Платонова* научился проповедовать".

Николай Васильевич, закусывающий водку ломтиком семги, сказал: "Ну, какие там Введенский с Платоновым. Это же князь Мышкин на балу у Епанчиных. Он как будто соскочил со страниц Достоевского. Как, Аркаша, Вы пока еще падучей не страдаете?"

– Ну вот, все Вы мне пророчите: то сумасшествие, то падучую.

Всеволод сказал: "Падучая – не падучая, но что-то вроде стигматов у него бывает".

---

* А.И.Введенский (1889-1946) и Н.Ф.Платонов (1888-1942) – обновленческие митрополиты, известные проповедники.

Движение за столом.

– Как так?

– Так. Ночевали мы с ним раз вместе в Сергиевой пустыни. Ездили туда с Владыкой служить и ночевали в одной келье. Вдруг просыпаюсь. Аркадий мечется на своей постели. Я его разбудил. Он как не в себе. Говорит: "Христос идет на распятие. Христос идет на распятие. Пронзают копьем. Пронзают копьем. Пронзают копьем. Какая боль, какая боль, какая боль". Весь в поту. Глаза дикие. Потом погрузился в сон. А утром, смотрю, у него вся рожа в крови. Что такое? Оказывается, действительно, кровь выступила на висках. На другой день служили с Владыкой. Я ипподиаконствовал, он держал посох. В этот день был бледный, бледный. И тихий, тихий".

– Я же говорю: истерик, истерия в тяжелой форме. Еще раз повторяю: берегитесь, Аркадий, сумасшествия! Берегитесь! – сказал Николай Васильевич.

Владыка, усмехнувшись, сказал: "Да нет, эти психи никогда с ума не сходят, так и остаются полупсихами. Сходят с ума здоровяки".

А затем обратился к Сонечке:

– Сонечка, Аркаша нас отвлек. Вы знаете, зачем я сюда приехал. Сонечка, милая, Всеволода и вас я знаю с детства. Ему предстоит (я не хочу быть пророком), быть может, крестный путь. Подумайте и взвесьте. Лучше сейчас, чем потом. Вы знаете, я имею право так говорить: не дай ему Бог пережить то, что я пережил".

Все переглянулись. Ни для кого не было тайной, что, когда Владыка был священником в ссылке, в Соловках, жена его бросила, – сошлась с другим. В результате этого он принял монашество и стал архиереем.

А теперь Владыка, повернувшись к иконам, стал читать молитву после трапезы: "Благодарим Тя, Христе Боже..."

Внизу загудел гудок. Это прибыла за Владыкой машина.

Епископ, сопровождаемый хозяйкой, Всеволодом и всеми, кроме парализованного дедушки, стал спускаться с лестницы; затем, благословив хозяев и гостей, сел в автомобиль.

* * *

Из первого этажа вышла женщина, полная, в платке, с широким русским лицом. Подошла к автомобилю, поклонилась, сказала: "Владыко, благословите". Тот молча благословил, приоткрыв дверцу, протянул ей руку, сказал шоферу: "С Богом", – и машина тронулась. А из первого этажа вышли люди посмотреть на отъезд Владыки. Их было четверо: молодая девушка в цветном, раскрашенном (цветы на темном фоне) платке, какой-то белесый парень и... Михаил Константинович с Витковским.

Михаил Константинович с красным лицом, с трубкой в зубах, стоял, покачиваясь, в дверях, – и Витковский, с расстегнутым воротом, тоже красный, держал в руках гитару.

Он первый заметил Аркадия; тронув за плечо учителя, сказал: "Дядя Миша! Гляди, кто здесь. Мы не взяли Аркашу на Голодай, а он сюда приехал". Дядя Миша поглядел, и вдруг неожиданно по-пьяному обнял Аркадия, обдав его запахом водочного перегара, заорал: "Мой ученик пришел. Хоть мы и поругались с тобой, но уважаю. Идем. Выпьем!"

Хозяйка, тоже немного пьяная, тороватая, полная, как будто олицетворявшая пословицу: "Сорок пять – баба ягодка опять", – обратилась ко всем: "Соседи дорогие, не обессудьте, попросту, по-пензенски, по-деревенски, зайдите ко мне, отведайте моего пирога. Жаль, Владыка уехал, а то и его бы попросила к себе".

Мама Всеволода усмехнулась, сказала: "Ну что ж обижать Марью Прокофьевну, – зайдем на минуту", – гуськом потянулись в открытую дверь. Только Николай Васильевич не пошел, потихоньку поднялся наверх. Ввалились к Марье Прокофьевне четверо: мама Всеволода – Александра Васильевна, Сонечка Иванова и Всеволод с Аркадием.

Комната просторная. На столе – пироги.

Расселись на диване, на стульях, – хозяйка стала накладывать каждому по куску пирога. И по чарке сорокаградусной. Александра Васильевна от водки отказалась, а Сонечка опрокинула. Хозяйка скомандовала Витковскому:

"Ну, а Вы, Анатолий, сыграйте нам на гитаре и спойте".

– Что спеть?

Соня, немного выпив, раскрасневшись, сказа-

ла: – Вы ведь поете цыганщину. Я слышала. Так что-нибудь цыганское.

– Рад стараться.

И сыграл хоть и не цыганское, но модный тогда романс (под цыганское):

"Все сметено могучим ураганом,
И нам осталось только кочевать.
Махнем, мой друг, в шатры с тобой к цыганам.
Там не умеют долго горевать.
Там пляски воли, воли и полей.
И там в кибитке
Забудем пытки
Далеких призрачных страстей".

Сонечка одобрила: "У Вас хороший голос, – приятный." Тот спьяну отпустил комплимент: "Когда смотришь на Вас, так и хочется петь и петь".

Все сказали: "Ого!" Соня раскраснелась. А Толька пустил Вертинского:

"Где Вы теперь, кто
Вам целует пальцы..."

Пел хорошо. Но сочный, мужественный баритон и фигура рослого, плотного парня уж очень не шли к изломанному декадентскому напеву известного кафе-шантанщика и шансоньера.

Но Соня и этот романс одобрила, сказала: "В Вашем исполнении все выходит здорово".

Александра Васильевна забеспокоилась: "Но что ж я дедушку одного оставила. Надо его укладывать". Всеволод, обращаясь к Аркадию, сказал: "И тебе надо укладываться. А то совсем осовел".

– Я сейчас домой.

– Ну какой там домой. Ночуешь у меня. А ты, Сонечка, слушай романсы. Я мигом вертаюсь.

Наверху Николай Васильевич беседовал с дедушкой.

До Аркаши долетели слова: "Нет, он парень хороший, религиозный, хоть и с чудинкой". И он понял, что это про него. Николай Васильевич стал прощаться.

Всеволод сказал: "Аркадий остается у меня. А то его совсем развезло. И в трамвай не пустят".

Николай Васильевич: "Ну вот и прекрасно. Аркадий, вот Вам мой адрес. Можете зайти в четверг ко мне в 6 часов вечера. Будет один человек. Вам интересно с ним повидаться". И сунул ему записочку в боковой карман.

– Ладно, зайду, – сказал Аркадий.

А Всеволод, взяв за руку, повел Аркадия в свою светелку. Небольшая комната, типа монашеской кельи, на чердаке. Иконы. Узкая кровать. Всеволод скомандовал: "Раздевайся и ложись".

– А ты?

– Я потом. Сейчас вниз, а потом мне с Соней поговорить надо. А потом я на полу.

– Нет, почему ты на полу? Я на пол лягу.

– Не болтай. Ты гость. Раздевайся и ложись. Аркадий подчинился.

С Всеволодом у него были странные отношения: парень непокорный, упрямый, всегда умевший поставить на своем. Но Всеволоду, мягкому и ласковому, он почему-то всегда и во всем подчинялся; было во Всеволоде что-то, внушавшее уважение, не только дружбу.

Всеволод ушел, притворив за собой дверь. Издали доносились с первого этажа говор и звуки гитары. Было темно. Лампада освещала розовым светом лик Спасителя.

Аркадий заснул.

* * *

Он вскоре проснулся. Дверь тихо скрипнула. Кто-то вошел. "Всеволод, ты?" – спросил Аркадий. "Нет, не Всеволод".

– Но кто же?

– Твой друг, старый товарищ; вставай, только тихо, тихо, чтоб не разбудить никого. Идем.

И Аркадий (воля его была ослаблена) тихо, тихо оделся, – кто-то взял его за руку. Вышли. Вниз по лестнице.

Раздавались еще внизу звуки гитары. Они вышли в поле. Аркадий все пытался спросить: "Куда? Кто ты?"

Но тот делал знак молчать. И они все шли и шли. Кладбище. Смоленское. Тихо ступая по ступеням церкви, друг открыл ключом дверь во храм. Повел к алтарю.

В алтаре стояло много духовенства вокруг престола. Царские двери были открыты.

На солее Епископ Амвросий в полном облачении, с багрово красным, будто обваренным кипятком лицом.

Аркадий заметил, что и у всего духовенства багрово красные лица и глаза и всех красные. Ли-

ца, как опаленные, словно налитые кровью. И среди них Всеволод. Рванулся к нему Аркадий. Но рука спутника придержала его. Аркадий вырвался. Но рука держит крепко, не вырваться.

Вдруг откуда-то простоволосая женщина в рубище, босиком. Прошла в Царские двери и положила руку на голову коленопреклоненного Всеволода. И духовенство пропело: "Аксиос! Аксиос! Аксиос!"*

"Почему только ему Аксиос! – я тоже хочу", – как ребенок капризно сказал Аркадий.

"Нет, ты недостоин", – сказал ему спутник и вывел из храма.

Кладбище: кресты, кресты, кресты. Страх напал на Аркадия. И он заорал, как безумный: "Всеволод! Всеволод! Всеволод!" – И он услышал голос Всеволода:

"Я здесь. Чего ты орешь?"

Аркадий открыл глаза. Он лежал на кровати. Около стоял Всеволод. Свежий, пришедший с улицы.

Было уже светло. Мигала лампадка. Смиренно и грустно из переднего угла смотрел Спаситель.

"Всеволод, ты откуда?"

– Да я сейчас только вернулся. Провожал Соню. Еще на лестнице услышал: ты меня кличешь и приговариваешь: Аксиос. Опять тебе что-то приснилось. Беда с тобой. Слава Богу, хоть рожа-то не в крови. Ну что ж, раз проснулся, вставай, – кофейку попьем. Мне спать неохота.

Аркадий вскочил, оделся. Оглядел комнату.

---

* Аксиос – греческое: достоин. Формула посвящения.

Икона. Под иконой крест. Письменный стол. Два соломенных стула. И вдруг Аркадий вздрогнул. На стене он увидел литографированную картинку.

Простоволосая женщина со скорбным лицом на фоне кладбищенских крестов. Та самая, которую видел во сне.

"Кто это?" – спросил он.

"Наша соседка, Блаженная Ксения, – спокойно ответил Всеволод, – соседка, – ведь рядом со Смоленским кладбищем живем".

– Сейчас я ее видел во сне.

– Это хорошо, – ответил Всеволод. Выпили кофе. Всеволод сказал: "Слушай, друг, тебе, я вижу, тоже спать неохота. Пойдем походим. Расскажу кое-что".

И пошли.

Уже рассвело. Аркадий взглянул на часы – на столбу, у булочной часы показывали семь. Пошли к морю. Всеволод, взяв Аркадия за руку, сказал: "С Соней-то тю-тю".

– То есть как, что такое?

– То такое. Видно, конец. Ей фату – мне четки.

Уложив тебя, я спустился вниз к соседям. Там играли, плясали. Твой Толька Витковский все время увивается около Сони. А она кокетничает и смеется.

Я вижу, Нюрка (это племянница соседки) ревнует, забилась в угол. Заговорил с ней, а она хотя и показывает вид, что ничего, ни в одном глазу, вижу, помирает по Анатолию и ревнует безумно. И хоть

смеется, но вижу, плакать ей хочется. Так – до утра.

Наконец, хозяйка не выдержала, говорит: "Гости, а гости, не надоели ли вам хозяева? Спать пора".

Собрались. Я – провожать Соню, Анатолий с нами. Едва от него отделался. Остался с Соней. Бурное объяснение. Кажется, я хватил через край.

И вдруг она мне: "Я продумала слова Владыки. Может быть, он прав. Я не создана ни монахиней, ни мученицей. Уступаю это место какой-нибудь другой". И на трамвай. Я только успел промолвить: "Ну что ж. Вам фату, а мне четки".

Аркадий положил руку на плечо Всеволода, не зная, как выразить свои чувства. Всеволод усмехнулся. Они дошли до взморья. Уже совсем рассвело. Но небо было красное. В волнах Финского залива – розоватый отблеск.

Оба друга стояли на пляже. Смотрели на море. Аркадий вспомнил все события вчерашнего вечера, с того времени, как они с Витковским вошли в пивную, на 8-ой линии Васильевского острова.

"Вальпургиева ночь", – задумчиво сказал он.

"Вальпургиева ночь", – повторил Всеволод.

ЧЕТВЕРГОВАЯ СОЛЬ

В ближайший четверг Аркаша поднимался по лестнице на пятый этаж. По крутой ленинградской лестнице. Дом был старый. Двор – колодец. Лестница узкая, с арками, с переходом на другую лестницу, параллельную, на каждой площадке по три двери. У каждой – внутренний звонок. Его надо было дергать, и раздавался унылый, какой-то похоронный звон. Пахло кошками. Было темно и мрачно. Дошел. Посмотрел номер над дверью. Позвонил. Тотчас открыли.

На пороге Николай Васильевич в затрапезе. Улыбнулся. Светски потряс обе руки.

"Аркадий. Пожалуйста", – и впустил в квартиру. Квартира крохотная. Комнаты небольшие. Их две. Тесные. В первой комнате дама. Пожилая. Высокая. В темном платье. Со стеклярусами, какие носили в начале века.

"Мама, позволь тебе представить молодого человека. Очень религиозный. Мой знакомый: Аркадий".

И прибавил нечто по-французски, что Аркадий не понял. Мадам улыбнулась, но руки не подала.

Кивнула головой. Николай Васильевич провел в другую комнату. В той комнате было неаккуратно. За столом письменным, пыльным, но с хорошим старинным чернильным прибором, сидел человек в поношенном пиджаке, с цветным галстуком, с простым русским лицом. Рыжие усы.

В углу дама, одетая просто, в жакете, – под жакетом блузка, повязанная галстуком, как носили учительницы в начале века. Курит.

Николай Васильевич: "Познакомьтесь. Аркадий. Молодой человека, жаждущий истину. Один из чающих движения воды. Знаю его по церкви. Когда ему было 7 лет, ходил в Киевское Подворье.* А теперь: обновленец. Называет себя "Христианским социалистом". Аркадий покраснел до ушей. И от смущения не мог вымолвить ни слова. Дама улыбнулась. Подала руку. Сказала: "Ну будем знакомы, Аркаша. Зоя Александровна". Мужичок пыхнул папиросой. Подал руку. Сказал: "Здравствуй".

Николай Васильевич усадил Аркадия. "Да не смущайтесь Вы так. Это же не архиереи".

При этих словах оба гостя рассмеялись. Зоя спросила: "Почему архиереи?"

– Да мы с ним были три дня назад в одном обществе, где был Преосвященный. Так он, увидев его, так же смутился, как сейчас. Хорошо, что хозяин дома, его друг-приятель, поднес ему шкалик. Тут у него сразу язык развязался. Но сейчас водки не

* Киевское Подворье: Храм на углу 14 линии Васильевского острова и набережной. Служили монахи из Киева. Закрыто в 1935 году.

будет. Не ждите, Аркадий. Чаем могу напоить. Хотите?

Аркадий поблагодарил и вежливо отказался. Зоя Александровна спросила: "Так, значит, Вы обновленец? Приверженец Введенского?"

– Да, я хожу в обновленческую церковь.

– Введенского я знала еще в 17-ом. Помню его выступления. Он тогда был близок к эсеровским кругам. Слушала его. Талантлив. Но ведь типичный авантюрист. Правда, истерик. Таким его всегда считали.

– Аркаша тоже истерик. Что из него выйдет, трудно сказать. Но известные авантюристские замашки, вероятно, есть.

Аркаша (обидчиво): "Ну почему Вы так думаете?"

– Что Вы истерик – это не нуждается в объяснении. И что известный авантюризм Вам свойствен был с детства, тоже ясно. Вечно Вы убегали из дома. Ходили от одного архиерея к другому. И все Вас знают. И у всех Вы бываете. И уже с пятнадцати лет в основателях новой религии. "Социалист". Все Ваши сверстники обычно этого не делают.

Мужик рассмеялся. Сказал: "Ну что ж, я в пятнадцать лет тоже ходил по верам. А в шестнадцать уже в партию вступил. И партийные поручения выполнял".

– Как в партию?

Все рассмеялись. Николай Васильевич сказал: "Да не бойся. В партию, да не в ту." Мужичок подтвердил: "Не в ту".

– Так в какую же?

– Ну да! Он не помнит. Когда мне было пятнадцать, еще были другие партии.

Аркаша при этих словах встрепенулся: "Я знаю. Но в какой же были Вы?"

– О социалистах-революционерах слышали?

– Ну как же! Меня всегда эта партия интересовала. Хотел о ней узнать, но не у кого. Бабушка моя тоже была общественница. Ей говорили, что она похожа на Брешко-Брешковскую. Но она была толстовка. Революционными делами мало интересовалась. А отец вообще ко всем партиям всегда относился отрицательно.

– А ты?

– Я всегда сочувствовал всем революционерам. Я не марксист, потому что для меня жизнь без Христа немыслима. Христос – свет, истина, Христос – это правда. Правда в личном плане – это святость. Правда в плане общественном – это справедливость. Это равенство. Это всеобщее братство. И нужна борьба за справедливость.

Зоя спросила:

– Это Вы, верно, от бабушки наслышались? А она от Толстого.

– Нет, для меня всегда главным человеком в русской литературе был не Толстой, – был Некрасов.

– Некрасов?

– Да, Некрасов. Он понимал христианство лучше, чем Толстой.

И понимал, что значит борьба за правду.

И Аркаша стал возбужденно декламировать:

"Не говори: забыл он
осторожность
И будет сам судьбе
своей виной
Не хуже нас он видит
невозможность
Служить добру,
не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней
и шире,
В его душе нет помыслов
мирских
Жить для себя возможно
только в мире,
Но умереть возможно
для других.
Так мыслит он, и смерть
ему любезна.
Не скажет он, что жизнь
его нужна.
Не мыслит он, что
гибель бесполезна
Его судьба давно ему
ясна.
Его еще покамест не
распяли,
Но час придет: он будет
на кресте.
Его послал Бог гнева
и печали

Царям земли напомнить
о Христе.

Аркадий встал, потом опять сел:

"Для меня христианство все в Некрасовской повести о двух великих грешниках, в том, как Кудеяр атаман, ставший монахом, услышал, как пан Глуховский, богатый и знатный, первый в той стороне, угнетает народ, и чудо с отшельником сталося:

"Бешеный гнев ощутил...
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил".

И Аркашка задекламировал:

"И только что пан окровавленный
Пал головой о седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло".

При этих словах Зоя и рыжий мужик встрепенулись.

Рыжий сказал: "Батюшки! Так это же законченный социалист-революционер. А гвоорят, что наша партия в новом поколении исчезла. Вот она, наша партия".

Зоя Александровна сказала: "Потрясающе".

Николай Васильевич улыбнулся.

"Тише, а то мама услышит, испугается. Ведь такие, как Вы, помещичьи дома поджигали".

– Да и сейчас поджигают. Это типичный поджи-

гатель, – сказал рыжий. И подал руку Аркадию: – Ну, будем знакомы. Димитрий Пастухов. Мот отец был управляющим имением у них, – он указал на Николая Васильевича. – Мы скобари – из Псковской губернии.*

– А сейчас?

– А сейчас – из Чимкента. Из Средней Азии. Позавчера приехали сюда. Контрабандой. Ну вот, и к своим бывшим господам явились. Дед мой был ведь из крепостных. Я не то, что Зоя Александровна - столбовая.

– А сейчас?

– А сейчас, я уже сказал – из Чимкента. Из Средней Азии. Позавчера приехали сюда.

– А почему теперь забрались так далеко? В Среднюю Азию?

– Забрались? Нас туда засунули. Ссыльные. Чимкент – этот городишко весь населен эсерами. Приезжай к нам. Там найдешь много единомышленников и друзей. Больше, чем среди приверженцев Введенского.

Стемнело. Николай Васильевич повернул выключатель. Стало светло. Аркадий разглядел обстановку: в углу кровать узкая. Над кроватью картина – Христос у колодца и самарянка. На столе канделябры (видимо, из имения), в углу – икона, старинная, в ризе, запыленная, за иконой – вербочка. Шкаф – стеклянный. На стене, над кроватью, портрет какой-то дамы. Красивой. В большой шляпе.

---

* Скобари – обычное насмешливое прозвище жителей Псковской области.

Зоя Александровна закурила. Димитрий Пастухов замолк, развернул газету. В это время раздался звонок. Резкий. Все вздрогнули. Гости насторожились. Николай Васильевич пошел отворять дверь. Говор в передней. Потом вошел человек ярко выраженной еврейской наружности. Лет под тридцать. С ним девушка, светлая блондинка, в платке.

Пастухов встал им навстречу. "Наконец-то, мы ждем с утра". – "Только что приехали. Прямо из Пскова".

– Привезли?

– Привезли. Но надо ехать в Гатчину. Кто туда повезет? Маша не может, я тоже. Нас уже один раз там задерживала милиция. Да и Маргарита просила не приезжать.

Молчание.

Пастухов неожиданно показав на Аркадия:

– Вот кто повезет.

– Да?

– Да. Этого парня я вижу, вообще говоря, первый раз в жизни. Но Николай Васильевич его знает. Да и я интуитивно: он наш.

Вот, Аркадий, тебе чемоданчик. С этим чемоданчиком завтра в Гатчину. Улица Воровского 7. У входа в парк.

Постучи, спроси Маргариту Владимировну. Когда ее увидишь, скажи: "Привет от друзей".

И оставь у нее чемоданчик. Вот тебе первое революционное поручение:

"Не говори: забыл он осторожность".

– А что в чемоданчике?

– Когда дают поручение, ни о чем не спрашивают, а выполняют. Если Маргарита что-либо тебе даст, передай Николаю Васильевичу. С ним держи связь. Прощай. Больше не увидимся.

Теперь он говорил властно, как боевой офицер, привыкший командовать. Показал на молодого еврея, прибавил:

"И с ним держи связь".

– Но как его разыскать?

Молодой человек сказал:

– В Институте Искусствознания. Исаакиевская площадь 5. В общежитии. Вход со двора. Спросить аспиранта Пятигорского.

– Хорошо.

Пастухов все тем же командирским тоном сказал:

– Теперь иди. До свиданья.

И в заключение продекламировал:

"Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой".

Аркадий простился. Взял чемоданчик. Николай Васильевич проводил его до передней.

Уходя, Аркаша обратил внимание: в шкафу, рядом с пасхальными яйцами стояла серебряная, причудливой формы солонка, и в ней соль. В передней спросил:

– А почему, Николай Васильевич, рядом с пасхальными яйцами солонка?

– А это, Аркадий, четверговая соль! Знаете ведь, что в страстной четверг соль освящают. В память той соли, что на тайной вечери:

"Омочивый в солило руку свою, той предаст Мя".

– Но Вы не омочите руку в "солило". Уверен.

– Хотя и авантюрист? – с усмешкой спросил Аркадий.

– Хотя и авантюрист. Вы ведь, в сущности, хороший мальчик!

Аркадий нахмурился. Он очень не любил, когда его называли мальчиком.

ГАТЧИНА

Мрачное место Гатчина. Из всех питерских пригородов – самое мрачное. Петергоф и Царское Село – веселые. На всем дух затейницы Екатерины. Веселый и светлый дух. Он и над Павловском. Эта неисправимая оптимистка, оставшаяся такой и в старости, устраивала брачное гнездышко для сына. Но не по нутру пришлось сыну это гнездышко. И переехал он еще при жизни матери в Гатчину. И всю-

ду, здесь и во всем, как и в Михайловском замке, мрачный, больной дух императора Павла.

Мрачные громады огромного дворца; даже парк какой-то мрачный. И грот "Эхо" оставляет тягостное впечатление, точно строители предчувствовали, что на этом месте зловещим эпизодом откроется мрачная эпоха в истории России.*

Сюда спозаранку, зимним темным утром, приехал Аркадий.

Безумный мальчишка, боясь своего строгого папаши, не повез чемоданчик домой, а сдал вечером на Варшавском вокзале в камеру хранения, не зная, что в чемодане. Вот была бы история, если бы кто-нибудь этот чемодан бы открыл.

Рано утром Аркадий приехал, взял чемодан, отправился в Гатчино. Дом нашел быстро. Старинный каменный домишко.

Верно, здесь в павловские времена жили какие-нибудь чины из дворцовой челяди. Долго стучал, звонка не было.

Открыла дверь девушка лет 25-ти. Простая. В косынке. Спросила: "Кого надо?"

– Маргариту Владимировну.

– Я.

– Привет Вам от друзей.

Молчание.

– Просили передать чемоданчик.

– Давайте.

---

* Через этот грот, откуда открывается подземный ход во дворец, бежал в ноябре 1917 года из дворца А.Ф.Керенский.

– А Вы ничего не хотите передать?

– Ничего.

– До свиданья.

– До свиданья.

Аркадий повернулся уходить. Но когда он уже сошел со ступенек, женское сердце конспираторши дрогнуло. Она его окликнула:

– Молодой человек! Вы ведь, верно, продрогли· выпьемте чаю.

Поколебавшись минуту, Аркадий вернулся. Со вчерашнего вечера он, действительно, ничего не ел, – и вдруг почувствовал голод.

Маргарита Владимировна ввела его в дом. Комната, как две капли воды, похожая на Василеостровскую квартиру, где был вчера. Старинная мебель. Высокие, мрачные, казенные стены без обоев. Выкрашенные в серый цвет.

Но чувствовалось: здесь живет женщина. Кружевные занавески на окнах. Цветы в горшочках. Белоснежная скатерть на столе. Через минуту появился кофейник, масло, сахар, ситный, ленинградский ситный, самый вкусный в мире. С изюмом. Все в молчаньи.

Маргарита Владимировна все делала быстро, ловко, – Аркаша исподтишка наблюдал за ней.

Молодая, но не слишком. Аркадий мысленно определил возраст – лет 27. Открытый лоб. Пенсне. Руки чистые, но без маникюра. На всем печать простоты и опрятности. Платье светлое, без декольте, застегнутое доверху.

Стали пить чай. В молчании. Аркадий молчал

от смущения. А Маргарита Владимировна так же естественно и просто, как все, что она делала.

Наконец спросила:

"Ваше имя-отчество?"

"Аркадий".

Отчества не сказал – его никто еще тогда по отчеству не звал.

– Вы из Ленинграда?

– Да.

– Студент?

– Студент Педагогического техникума.

– Вот как. Почти коллеги.

– Вы учительница?

– Не совсем. Я работаю в детском саду воспитательницей.

Аркаша осмелел:

– А давно?..

И осекся.

Она спокойно ответила:

"Давно. С тех пор, как себя помню. Родители были членами партии. И родилась я в тюремной больнице. Отец и мать оба были на каторге".

– А теперь?

– Теперь они умерли.

И так же спокойно спросила:

– Голодны? Сделаю яичницу. – И тут же пошла на маленькую кухоньку, быстро соорудила яичницу-глазунью.

После еды сказала:

– Извините, мне пора на работу. А Вы успеете

на 10-тичасовой поезд, если поспешите. Заезжайте как-нибудь. Буду рада.

И они простились.

* * *

Аркаша был девственник. Ни одной женщины он до сих пор не знал. Когда-то, когда ему было 12 лет, у него была детская любовь. Он любил свою одноклассницу Олю Репину.

Но вскоре Аркадий перешел в другую школу. Однажды он написал ей письмо. Но она не ответила. Аркадий, однако, отнюдь не был чистым юношей. Страстные, плотские помыслы его томили. Он плохо спал ночами. Лицо в угрях. Воображение грязное. Но ни в кого никогда не влюблялся. И вот теперь, дни и ночи перед ним стояла Маргарита. Этот образ его преследовал.

Как-то раз в техникуме, на уроке географии, его спросила преподавательница географии экспромтом: "Левушин, столица Мексики?" – И он ответил: "Маргарита".

Весь класс разразился хохотом, а учительница улыбнулась.

После этого его долго дразнили: "Ну, как поживает Маргарита?"

Однажды Аркадий поехал в Гатчино, около часа ходил мимо дома, где жила Маргарита, – но войти не решился. Вернулся ни с чем, проклиная себя за нерешительность.

Увы! Это не было в последний раз. Каждые три

дня он ездил в Гатчино и ходил часами мимо дома в надежде, что он встретится с Маргаритой. Он так ясно представлял себе эту встречу: он встретится с ней совершенно случайно. Сначала сделает вид, что не узнает. Потом припомнит. Потом сделает вид, что он страшно занят. Озабочен. Потом... потом... Но здесь воображение умолкало. Обычное грязное воображение мальчишки исчезало.

Много после он прочел у Гете, что для него его возлюбленная в молодости была одета в "бронзовые одежды".

И вспомнил свою юношескую любовь к Маргарите. Он ездил в Гатчино непрестанно. Подкарауливал. Ожидал часами. Увы! Ее не было. Он стал уже предполагать, что ее арестовали, что она уехала.

И ведь не у кого было узнать о ней. Чимкентские гости уехали. Николай Васильевич о ней ничего не знал. Пятигорский, которого он разыскал и спросил о Маргарите, подозрительно на него глянул и ответил лаконично: "Не знаю".

И вот, когда Аркадий уже совсем отчаялся ее когда-либо увидеть, он встретил ее в самом неожиданном месте. В церкви. Был праздник Троицы. В огромном Троицком Соборе на Измайловском был престольный праздник. Великолепный, хотя по-петербургски холодный храм, бывший собор Измайловского гвардейского полка. Собор известен литературоведам всего мира, т.к. здесь венчался вторым браком со своей молодой женой Анной Григорьевной Достоевский.

И он вдруг столкнулся с ней лицом к лицу.

Окончилась торжественная литургия. Народ шел толпой к кресту и за благословением к Митрополиту Алексию (будущему Патриарху), который, стоя в мантии и в белом клобуке на солее, благословлял народ.

Народ шел неспокойно, была давка, и вдруг Аркадий увидел ее. Она была все такая же: в белом платье, в руках у нее был троицкий букетик.

Он сказал: "С праздником".

Она улыбнулась приветливой улыбкой. Вышли из храма вместе. Сказала: "Что же, Вы бываете в Гатчине, ходите мимо и ни разу не зашли?"

Аркадий чуть не провалился сквозь землю. Оказывается, она все время наблюдала за ним из окошка, сквозь задернутую занавеску. Аркадий что-то залепетал о том, что он спешил, но по ее веселому и лукавому взгляду понял, что врать бесполезно, сказал: "Я стеснялся". Она улыбнулась.

"Ну, поедемте теперь".

Они шли по направлению к Варшавскому вокзалу, по Измайловскому проспекту, который тогда назывался Проспектом Красных командиров.

Приехали. После обеда гуляли по парку. Маргарита хорошо и свободно объясняла все о парке, о дворце, о павильонах и беседках.

Аркадий слушал внимательно, упивался ее речью и не слышал ни одного слова.

. Он смотрел на пушок у нее на подбородке, на родинку у нее на шее. И это занимало его гораздо больше, чем все исторические анекдоты о Павле I, его супруге Марье Федоровне и о всех царственных

особах, тени которых витали в этих местах.

И вдруг внезапный удар.

Взглянув на часы, которые были у нее на груди, она спросила:

"Вы не соскучились?"

Он ответил: "Слушая Вас? Около Вас? Разве можно соскучиться?"

И порывисто схватив ее за руку, стал жадно целовать в кисть, в ладонь, в запястье, – там, где бьется пульс.

Она спокойно отняла руку, сказала: "Кажется, пора. Должен приехать муж".

– Муж? Какой муж? – залепетал Аркадий.

– Мой муж. Разве Димитрий Сергеевич Вам не говорил?

– Какой Димитрий Сергеевич? – залепетал все так же растерянно Аркадий.

– Димитрий Сергеевич Пастухов, дядя моего мужа Корнея, – спокойно и твердо ответила она.

– Мой муж, – продолжала она, – живет в Порхове, под Псковом, и то, что Вы принесли, изготовил он.

Сюрприз за сюрпризом.

– Я принес? А что я принес?

Тут пришла очередь удивляться ей:

– Как, Вы даже не знаете, что принесли?

– Нет, я не смотрел. Я сразу сдал это в камеру хранения на вокзале, а на другой день, рано утром, взял из камеры чемодан и привез Вам.

Она вдруг прыснула и начала хохотать, как безумная. Потом вынула платочек, вытерла выступив-

шие на глаза слезы, сказала: "Дядя Митя сумасшедший. Неужели он Вас не предупредил, что там была целая тысяча листовок?"

– Листовок? Каких?

Она ответила все так же смеясь:

– Листовок с похвалами советской власти. Там рассказывалось, какие хорошие люди большевики.

Встала, сказала:

– Ну, насмешили. Пойдемте. Покажу, что там было. Теперь уже нет, но одна осталась. Как будто специально для Вас.

Пошли. Аркадий плелся за ней, как потерянный. От оживления, нервного и веселого, не осталось и следа.

Пришли. Она сказала: "Садитесь. Подождите". Вышла, через минуту вернулась. Показала аккуратно сложенный лист бумаги. На нем было напечатано очень небрежно, видно сразу на самодельном типографском станке и не профессиональным наборщиком – строки иные лезли вверх, иные вниз, с орфографическими ошибками:

"В борьбе обретешь ты
право свое!"

Товарищи!

Деспотическое правительство, самозванно именующее себя советским, разорившее страну, истребившее лучших людей, заливше русские города и села кровью, снова готовится к расправам, с расстрелам, к ссылкам честных людей.

Организовывайтесь!
Готовьтесь к борьбе!
Земля и Воля!

Аркадий прочел внимательно два раза. Сложил аккуратно, отдал Маргарите.

Она спросила: "Ну что?"

– Плохо. Совершенно не конкретно. И неясно, что надо делать. Жаль трудов Вашего мужа.

Маргарита вздохнула:

– Пожалуй, Вы правы. Абстрактность – это беда нашей партии. Во главе всегда стояли интеллигенты и идеалисты.

Аркадий заговорил тоном оратора (смущение его уже прошло, и он говорил со свойственной ему самоуверенностью, за которую его многие так не любили):

– Вы знаете, как Плеханов однажды с присущей ему злобной иронией назвал Розу Люксембург:

– Нет.

– Он назвал ее рафаэлевской Мадонной, плавающей в облаках абстракции. Вот и мы все такие.

В это время раздался стук.

Маргарита сказала: "Муж". И пошла отворять дверь. Аркадий спокойно встал. Шок прошел. Осталась досада, что он попал в глупое положение.

И как всегда в таких случаях – им овладело раздражение, желание ссориться, говорить грубости, драться.

РОДНЫЕ ИМЕНА

(Из воспоминаний Аркадия Левушина)

"Как знать, дождусь ли я ответа?
Прочтут ли эти письмена?
Но сладко мне перед рассветом
Будить родные имена".
Аделаида Жуковская.
(Из книги Евгении Герцык "Воспоминания")

Итак, прошло 47 лет. Никого уже нет из тех, кто был тогда. Но воспоминания живы. Все как будто вчера. И обидно, что... никогда, никто, ни о чем.

Вошел муж. Высокий, плотный мужчина. Лет тридцати. Как и дядя, рыжий. И вообще похож. И хотя я был предрасположен и заранее не любил, но было в нем что-то внушавшее уважение. Чувств своих скрывать я не умел ни тогда, ни потом.

Поздоровался с ним очень холодно.

Маргарита сказала: "Это тот молодой человек, который передал мне чемодан от дяди Мити".

Он ответил: "Спасибо".

Мне надо было уйти. Этого требовала элементарная деликатность. На что это похоже – торчать, когда встретились супруги, и сидеть у них над душой. Но не уходил. Не мог подняться. Когда-то мой отец говорил: "Настоящее воспитание в том, чтобы вовремя уйти..." Этим искусством я никогда не обладал.

А теперь не мог, не мог уйти, оставить ее в этот момент. В объятиях этого рыжего. Видимо, правильно говорил Николай Васильевич, что я истерик. Вероятно, в молодости так и было.

Неловкое молчание. Он посмотрел на меня. Взгляд говорил слишком ясно: "Что тебе здесь надо? Почему не уходишь?" Но я точно прирос к месту. Маргарита пыталась поддерживать светский разговор: "Представь себе – дядя Митя ничего ему не сказал. И он не знал, что находится в чемодане. Но все-таки принес... Какой молодец".

Молчание.

"Это надо ценить. Дядя Митя умеет отыскивать людей".

Тут он прервал молчание. "А ты давно знаком с моим дядей?"

– Видел только один раз и то случайно. У Корсаковых.

– И он тебе так сразу и поверил. Мой дядя – дурак, – неожиданно отрезал псковитянин.

– Если бы и так, то значит ты в дядю, но он умнее тебя раз в двадцать.

"Ну-ну", – угрожающе придвинулся Корней.

(Потом я уже узнал, что его назвали в честь

преподобного Корнилия Печерского, чтимого псковского святого).

Маргарита встала: "Ну что вы, что вы, ребята, чего вы не поделили? – Корней, тебе пора спать, а Вы, Аркаша, теперь идите. Вам тоже пора домой. Другой раз придете".

– Иди себе! – сказал Корней.

Я встал. И вдруг почувствовал, что так просто я отсюда не уйду – какой-то бес овладел мною. Мурашки по спине и весь как в бреду...

– А ты не гони, не к тебе пришел, – заорал я бешено, подступая к Корнею.

– Вишь, как разорался, жидок, – сказал презрительно Корней, быстро распознав в чертах лица моего дедушку.

Вообще говоря, сам я к своему стыду не был лишен в юности (и даже в значительной степени) в глубине души антисемитизма. И от вечно пренебрежительного отношения к евреям отца – выкреста, и от очень крепкого антисемитизма матери, и от среды церковников, в которой вращался с детства. Но тем более больным местом было мое полуеврейское происхождение. Поэтому, сжав кулаки, пошел на глядящего на меня с иронической улыбкой Корнея, который мог меня раздавить одним пальцем! Здоровенный мужик. Скобарь.

– Аркаша! Ну что Вы! Вы же сегодня были в церкви. Я видела издали, как Вы горячо молились. И как Вам не стыдно так поддаваться слепой ярости. Ну, прошу Вас...

– И ты, Корней, как сумасшедший, ну что ты на него набросился?

Как выяснилось позже, он сразу, с первого взгляда, угадал мои чувства к его жене. Интуиция самца.

– Приходите лучше в среду в 6 часов к Пятигорскому. Мы все там будем.

Я пришел в себя. Вежливо поклонившись, сказал Маргарите: "Извините!" И вышел, не взглянув на Корнея, сидевшего в прежней позе, и тоже как будто несколько пристыженного.

Давно это было.

Здесь обрывается дневниковая запись Аркадия.

* * *

У Пятигорского было много народа.

Когда пришел Аркадий, опоздав, по обыкновению, за столом сидело шестеро: среди них знакомые – Корней с женой, сам Пятигорский и девушка, которую Аркадий видел у Николая Васильевича (она тоже приехала тогда вместе с Пятигорским из Пскова).

Было накурено. В комнате стоял дым. На столе пепельница. Бесконечное количество окурков. Когда вошел Аркадий, все замолчали. Он поздоровался. Никто не ответил. Хозяин – лет 30-ти. С тонкими чертами лица. Худой. Протянул молча руку. Сказал: "Садитесь".

Аркадий жадно впился глазами в Маргариту. Она на этот раз была в чем-то темном. Одета просто. Но какое-то неуловимое изящество выделало ее из

всей этой компании. Как-то возвышало ее над всем – и над кучей пепла на столе, и над разгоряченными лицами. Или это так казалось влюбленному?

После минутного молчания неожиданно заговорила Маргарита:

– Аркадий! Мы все здесь свои. А Вы среди нас чужой. Большинство видит Вас в первый раз, а Корней хоть и не в первый раз, но... сами понимаете. Тем не менее я уверена в Вас. Предстоит очень рискованное дело. И брать его на себя никто не хочет. Мне кажется, что Вы согласитесь. Обращаюсь к Вам я. За свой риск и страх".

– Но что надо делать? Приказывайте, Маргарита Владимировна, – с романтическим пылом воскликнул Аркадий.

Все засмеялись, и даже Корней улыбнулся. Послышались голоса: "Скажите, какой рыцарь", "мальчишка", "Дон-Кихот".

Маргарита сказала: "Обо всем Вам расскажет Корней". Тот хмуро заметил: "Приходи завтра на Варшавский. Около касс. В 4 часа дня". И встал. Поднялась и Маргарита.

Сделав общий поклон, они ушли.

Все вздохнули как будто с облегчением. Появились бутерброды. Их сделала Наташа, девушка, приехавшая с Пятигорским из Пскова. Затем – поллитра.

Выпивали, обменивались шутками. Компания из пяти человек: Пятигорский с Наташей. Двое студентов из Индустриального. В пиджаках и косоворотках. Один, некто Тамбовцев, плотный, кряжис-

тый, молчаливый. Другой – со странной фамилией Поршнев – наоборот, развязный, быстрый, шутник и балагур. Пятый – Аркадий – сидел молча.

Сначала говорили, переливая из пустого в порожнее, но видно было, что все находятся под впечатлением чего-то, что произошло до прихода Аркадия. Разговор все время прерывался.

Вдруг Пятигорский, обратясь к Аркашке: "А это зря Маргарита сказала, что тебя здесь никто не знает. Я тебя знаю. Видел первый раз пять лет назад, когда ты был совсем еще желторотым. 14 тебе исполнилось.

– Где?

– В клубе Козицкого. Мы оба тогда стояли в очереди к Маяковскому.

– К кому? – раздались голоса.

– К тому самому. К Маяковскому. Он тогда выступал на заводе Казицкого, а на другой день принимал молодых начинавших поэтов. Ему что. Сидит и слушает всякую муру. А за это, вероятно, гонорар. Я тогда там работал станочником, а этого, видно, знакомые ребята привели.

– Ну и что?

– Да ничего особенного, – сказал Аркадий. Вошел. Комната небольшая. В завкоме дело было. Он сидит за столом, мрачный, огромный. На меня взглянул исподлобья.

Я вежливо поздоровался. Он в ответ кивнул даже не головой – как-то ресницами, сказал: "Садись, читай".

Стал читать религиозные стихотворения. Про-

чел одно, другое, третье. Он смотрит угрюмо. Мне показалось, что не слушает. Потом сделал знак – перестать.

Вопрос: "В монахи собираешься?"

Я пролепетал что-то невнятное.

– Еврей?

– Да, мой папа еврей, а мама – русская.

– Ты веруешь в Троицу?

– Верую.

– Ну, расскажи, что такое Троица.

Я заговорил. Сначала лепетал, потом стал говорить с жаром. Окончил. Он сказал:

– Да, хорошо, если бы была Троица. – Затем, вздохнув, прибавил:

– Но Ее нет!

Затем ко мне:

– Еврей – монах. Это уже кое-что. С этого можно начинать.

Я озлился: "Монашество – это не желтая кофта".

Он ответил:

– Ну, черная кофта. Перчик, видно, у тебя есть. А стихов не пиши, ничего не получится.

И опять сделал движение ресницами. Дескатьь до свидания.

А через полгода самоубийство. Мне было жалко.

Пятигорский: "Да, выскочил ты оттуда, как ошпаренный. Ребята смеялись: "Видимо, Маяковский пацана выпорол. И правильно. Не лезь, коли не дорос". Мне, впрочем, совсем плохо пришлось.

– А что?

– Совсем слушать не стал. На третьей строке сказал: "До свиданья".

– Значит, надо тебе было тоже сказать, что в монахи собираешься.

– Так ведь я не знал

Потом Поршнев, глядя на Аркадия, задумчиво сказал: "А все-таки жаль пацана. Втянет его Корнейка в свои дела. Погибнет пацан. А ведь в общем неплохой парень."

Молчание.

Потом взглянули на часы. Решили – пора уходить.

Пятигорский, прощаясь, вздохнул. Сказал: "Подумай прежде, чем что-нибудь делать".

Вышли. Тамбовцев, когда вышли на площадь, заметил:

– А все-таки сволочь Корнейка. На чем пацана поймал – на рыцарстве, желании отличиться перед Маргариткой.

– И что это значит? – спросил Аркадий.

– А то, что он тебя в мокрое дело втянуть хочет.

– В какое мокрое дело?

– В такое. В ограбление магазина. Да нет, нет, это не для себя. Экспроприация для того, чтобы издавать листовки.

– Какие?

– Такие. Нам предложили, но мы отказались.

Рисковать головой из-за безграмотных листовок.

– Но ведь всегда и везде революционеры так добывали деньги на революционную работу.

– Ну, как знаешь. Смотри.

И оба парня простились с Аркадием там, где начинается Конногвардейский бульвар.

* * *

Они встретились у Варшавского вокзала, у касс.

Корней сказал: "Здорово! Пошли!"

Пришли к церкви Воскресения.Около вокзала. Корней вынул папиросы, протянул мальчишке. Тот сказал: "Не курю". Корней закурил. Потом, указав на скамейку у церковных дверей, сказал: "Садись". Сам сел. Начался серьезный разговор.

"Вот какое дело! Мы стиснуты со всех сторон. Денег нет. А надо действовать. Самое время. Народ ждет".

Аркашка: "Не надо меня агитировать. Я все знаю. Согласен."

– А, ребята расквакались. И, конечно, меня ругали. Поймал, мол, мальчишку. Так ведь.

– Это не важно. Не в этом суть. Для дела согласен.

– Но учти. Дело опасное. Рискуешь головой.

– Довольно разглагольствовать. Согласен. Что делать – говори.

– Подожди. Перед батьки в пекло не суйся. Слушай. По Варшавской есть остановка: Тилизи. Чухонское название. Оттуда – 5 километров – дерев-

ня Лемпелово. Там у меня кореш. Магазин там открыть легко. Сторож – старик и пьянчужка. Его напоят. Я туда заберусь. Вскрою кассу. Я медвежатник и это дело знаю. Для меня это дело плевое. Минут двадцать. Но надо, чтоб кто-нибудь сторожил. Стой на углу. Если кто-нибудь спросит, зачем стоишь, отвечай: "Ирку жду". А если увидишь мужика или парня милицейского вида, кричи во весь дух: "Ирка! Ирка! Ирка!" Три раза. Это сигнал. Я убегу. Ты останешься. Тебе не уйти. И молчи. Бить будут – молчи. Пытать будут – молчи. Убивать будут – молчи. Или говори какой-нибудь вздор, чтобы я успел уйти с деньгами. Согласен?

– Согласен, – после паузы сказал Аркашка. – Только чтоб самому не убивать.

– Греха боишься, парень? – сказал с усмешкой Корней.

– Да как бы то ни было.

– Подожди, придется и самому убивать. Нам не до миндальничанья. Мы должны туда раздельно. Нельзя, чтоб нас видели вместе. Сейчас я тебе нарисую план, где ты должен стоять.

– Не надо. Я знаю.

– Как, откуда?

– В Лемпелове два года назад жила моя тетка с двоюродным братом. Ездил туда не раз. Где магазин, знаю. Единственный магазин в селе. Не раз туда заходил. И угол этот, где надо стоять, – под фонарем, знаю. И есть у меня там знакомые. Чухна. У которых тетка жила. Все найду. Во сколько времени там надо быть?

– Э, парень, да ты не человек – золото. Недаром жена к тебе неравнодушна. В 11 часов вечера на месте.

– Есть. А насчет жены не будем.

– Не будем. Только зря, Аркадий. Тебе надо девчонку. Прости, что я тогда психанул.

– Не будем!

– Не будем!

Простились до завтра. Он сказал: "В случае благополучного окончания спектакля – по дороге из села, до развилки. Там буду тебя ждать с мотоциклом. И поедем вместе. До Тилизи. Там расстанемся: я до Луги, а ты на последний поезд – в Питер. Должен успеть. Ну, так до свиданья.

– До завтра.

* * *

Аркадия сведующие люди называли истериком. В юности истерические поступки ему действительно были свойственны. Это у него было от матери. От матери, к которой он был очень далек (у нее была другая семья), но на которую он был необыкновенно похож. И у него, как у матери, были минуты самозабвенного увлечения. И необыкновенно истерической взвинченности. И в эти моменты – храбрость, которая почти граничила с безумием.

Так и его мать. Пошла добровольно в тюрьму, когда арестовали ее мужа. Прыгнула в фаэтон очень большого начальника, когда надо было спасать мужа. А потом ушла от него же с маленьким чемоданчиком к голодранцу актеру.

И Аркашка был таков. И сейчас он ощутил прилив необыкновенной решимости. Его не смогло бы остановить ничего на свете.

Обычно непрактичный и неумелый, он в этот день ощущал какой-то необыкновенный прилив энергии.

Казалось, действует не он сам, а какой-то автомат.

Он встал рано, сочинил домашним какую-то версию о том, что едет в гости к товарищу. Доехал до Тилизи. Весь вечер проболтался около станции.

Потом до Лемпелова – весь путь пешком. И точно, в назначенный час, около магазина, у фонаря.

Показался Корнейка. Он шел вразвалку, пошатываясь, как будто пьяный. Но Аркашка сразу разглядел, что это притворство. Он не пьяный, а только разыгрывает из себя пьяного.

Прошел мимо. Едва заметным кивком дал знать Аркашке, что видит. И прошел туда. К магазину. Через калитку во двор. Растаял в темноте.

Через несколько времени в крохотном окошке деревенской лавки едва заметный огонек. Корнейка засветил крохотный фонарик. Аркашка отошел в сторону за малой нуждой, не сводя глаз с пути. Потом вернулся. Никого не было. Стоял пять минут, десять, пятнадцать. Вечность.

Вдруг две фигуры. Милиционер с каким-то подручным. Не своим голосом Аркашка закричал: "Ирка! Ирка! Ирка!" Огонек в лавке тотчас погас. Милиционер подошел к Аркадию.

– Кого ты кличешь, парень? И откелева? Чего ты здесь околачиваешься?

Какое-то вдохновение осенило Аркашку. Он в ответ – залихватским матом: "Да Ирку, стерву, сволочь, ищу. Она сбежала, сука, с каким-то парнем".

Милиционер и его подручный рассмеялись.

"Это какую Ирку – Шушерину?"

– Ну да, так ее перетак. Я для нее специально из Ленинграда приехал. Сама мне назначила свидание. И сбежала прямо на глазах.

И Аркашка стал вдохновенно врать, рассказав о ссоре: как она от него потребовала деньги, и когда он не смог ей деньги дать, сбежала к какому-то прохвосту. Сволочь. Проститутка.

И опять, как сумасшедший: "Ирка! Ирка! Ирка!"

"Да ты, парень, пьян. Поезжай-ка лучше домой. Завтра приедешь и разберешься. А сейчас – на автобус. А то опоздаешь. Последний. А бабы, так перетак их мать, все такие".

Потрепал милиционер Аркашку по плечу. И пошли они дальше. Аркадий видел, как они спокойно прошли мимо совершенно темных окон магазина, потом свернули, освещая себе путь фонариком, и исчезли.

Аркашка бросился, как сумасшедший, прямо по дороге к развилке. Примерно в километре от поселка. Там из тьмы выскочил Корней. "Аркашка, голубок, ты?" И неожиданно два недавних врага крепко обнялись и поцеловались. За-

тем он сел на мотоцикл. Сказал Аркашке: "Садись сзади, держись за меня".

И они помчались в Тилизи. Ленинградский поезд стоял на перроне.

Корней сказал: "Все в порядке. Завтра в 2 часа на Вознесенском. (Проспект Майорова, знаешь?) В пивной, напротив церкви". – И укатил стремглав дальше по шоссе.

Аркашка на ходу вскочил в поезд.

РАЗГОВОР В ПИВНОЙ

Аркадий возвратился домой в 2 часа ночи. Пришел. Встретили бабушка и отец, полуживые от беспокойства.

Если бы они только знали!

Попив чаю, Аркадий лег. И странно: усталости почти не чувствовалось. Ворочался. Не мог заснуть. Зато на другой день утром реакция: апатия, слабость. Не пошевелиться. Спал до одиннадцати.

Вспомнил с отвращением, что днем свидание на Вознесенском. Не хотелось. Все начиналось сызнова. Усмехнулся при мысли, что ведь вчера он участвовал в ограблении.

Что бы сказали папа и бабушка! Вспомнив, как вчера он матерщинил, – сам себе не поверил. Откуда вдруг прыть взялась? Мальчик из приличной семьи, до этого он никогда не сказал ни одного нецензурного слова. Во всяком случае, публично.

А тут вошел в роль – настоящая шпана.

Днем был на Вознесенском, носившим тогда совершенно дикое наименование: Проспект Майорова. Кто такой Майоров? Об этом никто понятия не имел.

Зашел в собор. Великолепный. Огромный. Подошел к чудотворной иконе "Утоли моя печали". Что сказала бы Она о том омуте грязи, в который погрузился он, этот мальчик, который так благоговейно, поставив свечу, опустился перед Ней на колени.

Но в левом приделе другой образ, тоже закованный в светлую ризу. Иоанна Воина. Прикладываясь, подумал: "Этот, солдатик, понял бы. Ведь и сам с Юлианом Отступником боролся. И, вероятно, солдат, тоже он ни в выражениях, ни в чем другом не стеснялся".

Выходя из храма, вспомнил: "Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее".

Перешел улицу. Уже в окно увидел: сидит за столиком в стороне один (в этот час в пивной мало

народу) Корней. Прихлебывает пиво. Видимо, в хорошем настроении. Когда к столу подошел Аркадий, радостно улыбаясь, поднялся из-за стола.

Шутя провозгласил: "Ис полла эти деспота!"*

Аркадий улыбнулся, удивился: "Откуда ты знаешь, как надо приветствовать архиерея?" Корней подмигнул: "Я много чего знаю". А потом сказал: "Садись. Пива? Или голоден? Признавайся".

– Да, я еще не обедал.

– Тогда пойдем в ресторанчик. На углу. Накормлю. Заслужил.

(Расплатившись, вышли по направлению к Садовой).

Там зашли в ресторанчик, не дорогой, но приличный. Аркаша спросил рыбную солянку. Ели молча. Затем чокнулись. Корней спросил: "А ведь Раскольников, кажется, тоже подвизался в этом районе?" "В этом. Что ты его вспомнил?"

"Сам понимаешь".

И после паузы. Деловым тоном: "Всего 4540. На бумагу хватит. И дело в шляпе. Цель достигнута. Маргарита пишет. Учли твои замечания насчет неконкретности. Вторая будет лучше. Первый блин всегда комом.

"А то была первая?"

"Первая. Все приходится начинать сначала. Мы. Старых нет".

"Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда

* Греческое приветствие архиерею, принятое в православ ной церкви: "Многая лета Господину".

сказал". – "А дядя?" – "Что ж дядя? Его деятельность парализована. Он находится в Чимкенте с женой. За каждым шагом наблюдают. Нужны новые люди, которые еще не известны. Вот и работа нам".

"Извини, ты живешь в Порхове?"

"Да, работаю библиотекарем. Кроме того, пасечник. Там на пасеке и мастерю. Место пустынное. – и пчел все боятся. Пчелка, что собачка. Искусает постороннего.

"А как с Маргаритой?"

"Да, брак по Чернышевскому. На разных квартирах. И даже в других городах".

"Но как же так?"

"Так. Она к нам в Порхов приехала по рекомендации дядьки. Некуда было деться. Да, как говорит Некрасов: "Не на радость сошлась со мной". Устроил ее в Гатчину. Там у меня приятель в музее, товарищ по Библиотечному институту".

– А ты институт окончил?

– Было такое дело. Что удивляешься? По первому знакомству бы не подумал?

– Не подумал бы. Но ты вчера назвал другую профессию.

Корней усмехнулся.

Подали котлеты с картошкой. Пиво. Стали уплетать с аппетитом.

Корней сказал: "Да, я медвежатник. Мне двадцать пять. Но "как мало прожито, как много пережито". Я ведь безотцовщина. Батька в войну погиб. Мамка – учительница. Ну, а я с детства своим умом привык жить. Книжки всегда любил читать. А потом

со шпаной связался. Привлекала меня жизнь блатная, вольная. Есениным увлекался. Мамаша ужасалась, и тетки.

"... Наклонились и кряхтят
Сонные сиделки.
Эх ты, синеглазый,
Отравил ты сам себя
Горькою отравой".

Он произнес есенинский стих хорошим распевом и так громко, что за соседним столиком услышали, улыбнулись.

– А тут приехал дядька, показал другой путь. А потом Маргарита. Мы ведь с ней венчанные в церкви.

– Да ну?

– Да, венчанные. В Пскове, в соборе венчались. Хорошая она у меня, добрая. А ты не влюбляйся. Понта не будет. Ни фуя не выйдет, – заговорил он вдруг языком блатного.

– Ну, а что думаешь насчет наших общих перспектив?

– Наших перспектив? К чорту Есенина, пьянчужку, бабника! Да здравствует Некрасов!

– Кстати сказать, тоже бабник.

– Да, но учил он хорошо. Знаешь его послание к Тургеневу:

"Ты знал, что ночь, глухая ночь
Всю нашу жизнь продлится,
И не ушел ты с поля прочь.
И стал ты честно биться".

– Так и мы. Должны биться. А утра не увидим. Увидят другие.

Аркадий уставился на Корнея. У него в голове как-то не помещалось: медвежатник со всеми ухватками блатного, есенинские стихи... И вдруг такие идеи, такая жертвенность. Какой все-таки интересный мужик.

То уловил мысль Аркадия: "Что смотришь. На вас, интеллигенцию не похож? Что ж, критически мыслящие личности не только интеллигенты. И в народе. Коробейники. Певцы. Искатели. Да и ты не похож на интеллигента. Увидел тебя в Гатчине. Решил: интеллигент (ох, не люблю я вашего брата). Да еще верно из жидов (извини!). Сладострастник, к Маргарите подвигается. Но потом, когда полез ко мне драться, смотрю – нет, парень с душком. И когда Марго предложила тебя в товарищи, согласился. Интеллигенция, конечно, отказалась. Руки чистенькие берегут".

– Ну, Поршнев с Тамбовцевым какая же интеллигенция? Из колхозников. Да и Пятигорский из рабочих, сын какого-нибудь торгаша из Одессы.

– Ну эти скорей всех кочевряжиться начинают. Да и трусят больше всех. Аристократы лучше. Из них и Софья Перовская ненароком выйдет, и бабушка русской революции – генеральская дочка.

– А Маргарита?

– Да тоже из дворянок, хоть и небольших.

Подали чай.

– Так вот, словом, Аркадик, договоримся. Завтра уезжаю. Через три недели зайди к Маргарите. Она тебе даст новый материал.

– Мне?

– Тебе. Ты должен этим делом заниматься. К Маргарите не лезь. Не советую. Не ревную. Но зачем? Ни к чему. Для тебя безнадежно. Только лишняя травма.

– Что тебе делать – она скажет. А теперь – не поминай лихом. Пошли.

Они вышли на Садовую. Аркашка сказал: "А почему ты, собственно, так уж решил, что я согласен с тобой работать? Ты ведь не спрашивал даже".

Корней в ответ опять процитировал Некрасова:

"Кто насмерть был готов идти
За страждущего брата,
Тому с тернового пути
Покамест нет возврата.
Неутомимый враг цепей
И верный друг народа,
До дна святую чашу пей,
На дне ее свобода".

– Идет шестерка. Мне на Варшавский. Пока.

И подав Аркадию руку, Корней вскочил на трамвай.

У МАРГАРИТЫ

Через три недели, день в день, Аркадий был у Маргариты. Все то же. Приветливый тон. Любезность. Шутливое замечание при встрече:

– Итак, вы герой. Я знаю все.

Довольно глупо он сказал: "Я помирился с Вашим благоверным". Она ответила сдержанно: "И прекрасно: из-за чего Вам ссориться?" Но смущение Аркашки и легкий румянец, выступивший на ее щеках, показывал, что оба прекрасно понимают, из-за чего мог ссориться муж с безумно влюбленным в его жену мальчишкой.

Чтобы замять неловкость, она вынесла из другой комнаты сумку, набитую прокламациями, сказала:

– Надо рассовать по квартирам. Предварительно прочтите. – И она подала Аркашке одну из них.

Прокламация была на этот раз отпечатана на хорошей бумаге (прошлый раз на оберточной). Грамотная. Ее содержание:

"В борьбе обретешь ты право свое!"

Товарищи!

Дорогие друзья!

XVII съезд ВКП (б), о котором газеты писали, как о съезде победителей, окончился.

И что он показал?

Если говорить о победе сталинского самовластия, закабалении народа, о полном уничтожении какой бы то ни было свободы слова – в партии или вне партии, то, действительно, это съезд победы: победы деспотизма над свободой, самовластия над всякими попытками ограничить деспотическую власть, победы над народом.

Однако, спросите себя, что он дал вам, простые люди: стало ли после съезда вам лучше, более ли вы сыты, прибавилась ли хоть на копейку ваша зарплата, стали ли дешевле продукты, одежда, хозяйственные предметы?

Поэтому не давайте себя обмануть прожженным демагогам и фальшивой шумихе. Выступайте где и как только можете – в частных разговорах, на собраниях, в кругу друзей – за свободу собраний, за свободу критики, за Землю и Волю!

Ваши друзья".

Аркадий прочел, сказал: "Великолепно! Это Вы писали?" – Она кивнула головой.

"Как это видно сразу!" И он взял ее за руку. Но она руку отняла, сказала: "Вот Ваша сумка. Здесь 10 пачек – в каждой по 100. Как Вы думаете действовать?"

"Маргарита! Я с детства знаю лестницы ленинградских домов. В детстве, во время побегов из дому, на них ночевал. Буду ходить и засовывать в почтовые ящики".

– Но надо в разных районах, чтоб не засекли Вашу личность. А где хранить?

Аркадий запнулся. Он об этом не подумал.

Она сказала:

"Можете занести пока к Николаю Васильевичу. Только не надолго. А теперь до свиданья. Мне пора".

– Я провожу Вас, Маргарита.

– Еще что! С прокламациями! Вы с ума сошли. Отправляйтесь к Николаю Васильевичу. Шагом марш!

Пошутила она, но по улыбке, озарившей ее лицо, было видно, что влюбленность мальчишки, смотревшего на нее жадными глазами, была ей отнюдь не неприятна.

"Маргарита! Ну расскажите что-нибудь о себе. Я же ничего не знаю. Кто Вы, что Вы, кто ваши родители?"

– Экий любопытный, – заметила она. Впрочем, Вы правы. Ведь мы друзья, и даже больше того – братья. Смертельная опасность нас связывает. Кое-что можно рассказать: я родилась в 1907 году, в Сибири. Отец – почтовый служащий из Сызрани, мать – дочь самарского помещика. Оба – эсеры, террористы. Попали на каторгу, а в 1907 году. Мать была беременной. Под Иркутском, в тюремной больнице, я родилась. Воспитывлась у деда с бабушкой под Самарой, на берегах Волги. Потом, во время войны, вернулась мать, а после февраля 17-го и отец.

Во время гражданской они были в Тамбов-

ской губернии, участвовали в антоновщине. Кстати, Антонов был близким другом отца. Был с ним на каторге. И отец и мать – оба погибли.*

Я воспитывалась в Сызрани, у родителей отца. Потом познакомилась с Пастуховым, дядей мужа (Вы его знаете!). Затем, с 18-ти лет, я участвовала в работе партии; затем, скрываясь от ареста, попала в Порохов, к племяннику мэтра – Пастухова. Это – Корней. Остальное Вы знаете.

– Вы любите Корнея?

– Молодой человек! Подсудимый!

Вы просили рассказать Вам мою биографию. Извольте держаться в границах заданного Вами вопроса, – шутливо, официальным тоном, сказала она. – А затем, почему Вас это может интересовать?

– Как будто не понимаете – почему.

– Ничего не понимаю. – Но взгляд ее говорил, что она все прекрасно понимает.

Затем резкое движение:

"Я удовлетворила Ваше любопытство. Извольте идти".

И она бесцеремонно открыла дверь.

– А я не пойду. – И мальчишка, вдруг набравшись храбрости, захлопнул дверь, поцеловал ее крепко в губы, схватил за грудь.

Не говоря худого слова, она отвесила ему крепкую пощечину, а затем, показав на вновь раскрывшуюся дверь, сказала: "Вон!"

*Антоновщина – 1920-21 гг. – восстание крестьян в Тамбовской губернии, руководимое Антоновым, старым членом Партии социалистов-революционеров.

Молча он вышел...

Аркашке не было ни стыдно, ни больно.

Странно, ему даже льстило: она ему дала пощечину, – это как-то странно сближало. Значит, он получил на нее какие-то права.

И он не ушел; он остался ждать за углом, когда она пройдет.

Она, действительно, вскоре вышла. Увидела его, сказала:

"Ступайте вон, дурак. Что Вы тут стоите с прокламациями? Хотите, чтоб Вас забрали в милицию? Только этого не хватало". И быстро пошла по улице. Делать нечего: Аркашка тоже поплелся на станцию в город.

У СВОИХ

Аркадий поехал к Николаю Васильевичу. На Варшавском зашел в парикмахерскую. Близко подойдя к зеркалу, увидел, что на щеке есть еще крас-

ное пятнышко. Это было приятно. И даже – "Что Вы стоите, дурак", – как-то странно сблизило. Так ведь можно было бы сказать и мужу.

Придя к Николаю Васильевичу, застал у него Всеволода. Всеволод о чем-то громко рассказывал. Увидев Аркашку, обрадовался.

"А, вот пропащая душа!"

Но когда Аркадий, поцеловавшись с Всеволодом, попросил у Николая Васильевича поставить у него чемодан, огорчился. Сказал: "Неужто и ты?" И прибавил из Библии:

"Ужели и Саул во пророцех!"

Николай Васильевич тоже покачал головой: "Быстро они Вас сагитировали. Я не думал".

– Чего не думали?

– Вернее, думал. Думал, что в Вас больше самостоятельности и независимости.

– Она и есть. Очень прошу Вас, Николай Васильевич, на три-четыре дня.

– Знаю, знаю, к сожалению, не впервой.

Всеволод сказал:

"Аркаша, выйдем вместе..."

Вышли.

Всеволод завел его в дом напротив.

Туда, где жила его тетка, которая была в это время у них на родине, в Боровичах.

Пришли. Сели. Всеволод сказал:

"Ну, рассказывай".

Аркадий сделал непонимающее лицо:

– Да о чем?

– Не притворяйся. По роже вижу, произошло

что-то. И исчезновение твое не случайно. Так что же?

– Ты же еще пока не священник, не духовник. Зачем тебе знать? – сказал Аркадий.

И тут же рассказал ему все. Ему так приятно было видеть перед собой хорошие глаза Всеволода, его хорошее, родное лицо. После всего этого времени – мучительных сложностей, противоречивых чувств, странных извивов.

Всеволод слушал внимательно. Потом сказал: "Зря ты ввязался в эту историю. Тебе надо делать свое дело.

– Какое свое? – с раздражением в голосе сказал Аркашка.

– Церковное, – медленно, раздельно сказал Всеволод. Ведь видишь, с первых шагов уже столько грязи. Столько, сколько ты еще в жизни не видел. А что будет потом? Чем дальше в лес, тем больше дров!

– "Кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, кто потеряет ее ради Меня, спасет ее", – задумчиво повторил Аркадий евангельский текст, который пришел ему на ум за три недели до этого, когда он заходил перед беседой с Корнеем в Вознесенский Собор.

– Ради Меня, то есть ради Христа, – сказал Всеволод, – а не ради последователей Лаврова, Михайловского, Чернова, бомбометателей, убийц, среди которых были и, конечно, сейчас есть Азефы.

– А у нас их нет? Еще хуже – Иуды, – ответил Аркадий.

– И потом, если уж идти к ним, так с чистым сердцем. А ты?

– Что я?

– А ты что делаешь? Начинаешь с того, что хочешь соблазнить жену товарища, пользуясь тем, что он не может быть здесь. Это же все-таки хамство – подлезать к его жене, пользуясь тем, что он там у себя дело делает, подвергаясь опасности. И похоть. Готов терпеть все: и мордобой, и оскорбления, и насмешки, лишь бы переспать с бабой. Разве это хорошо?

– Да, это не хорошо, – ответил Аркадий.

– А как поживает Владыка? – спросил Аркадий, чтоб переменить разговор.

– Плохо, Аркадий, – теснят со всех сторон. Собор, как ты знаешь, отбирают.

– Все-таки отбирают, – горестно сказал Аркадий, – а я думал, оставили.

– Нет, не оставили. Видимо до 6-го декабря (Александра Невского – престольный праздник) дадут послужить, а там остается только Духовская церковь в Лавре. Налоги. И всех вот-вот заберут. Вот видишь! А ты увлекся не своим делом.

– Но что же я могу? А потом, это тоже наше дело. Пойми, Всеволод, ведь церковь не в безвоздушном пространстве, а на земле.

Всеволод усмехнулся.

– Ну да, ты скажешь, а пока что грабим магазины и прелюбодействуем с чужими бабами.

– Но ведь не частных лиц мы грабим, не бедняков.

– "Грабь награбленное", – эта песня нам знакома.

— А насчет прелюбодейства, так ведь не очень-то.

— По независящим обстоятельствам, — заметил Всеволод.

— Кстати, а как с Соней? — спросил Аркадий.

— Видимо, все. Имели с ней долгий разговор. Что же ее тащить в болото. Мы все смертники — лагерь, конец где-нибудь в болотах. А она полна жизни. Зачем делать ее вдовицей раньше срока. "Невеста уж печальная вдовица". Зачем?

— А вот Маргарита же не боится. Кстати, ведь она верующая. И в церкви венчана. И глубоко порядочная... — Аркадий здесь осекся.

— Что ты мне об этом рассказываешь? Себе скажи, — сказал Всеволод.

— А теперь давай чай пить. У тетки варенье всех сортов.

Разжег керосинку. Пили чай с вареньем, сидя на кухне, у окошка, выходившего на Неву.

По набережной спешили люди. Кончалась работа, шел переполненный трамвай. Прямо напротив возвышался памятник адмирала Крузенштерна.*

Выпив чай, простились. Всеволод проводил Аркадия до моста. На прощание сказал:

— Что ж, иди своим путем. А я тебе скажу словами старика Болконского в "Войне и мире": "Если услышу, что погиб, мне будет больно, а если услышу, что поступил подло, мне будет стыдно".

---

*Адмирал Крузенштерн — известный исследователь Заполярья. Его памятник в Питере на набережной лейтенанта Шмидта.

– Спасибо, – сказал Аркадий, и они поцеловались.

Это был их последний разговор.

Через две недели Всеволода арестовали. Дали ему десять лет. Он сидел в Дальневосточных лагерях. Отощал, потерялся где-то в лесах, отстав от этапа. Два дня ничего не ел. Нашли, – обо всем этом он писал из лагерной больницы. Это было последнее письмо. Затем следы его теряются...

АЗАРТ

Это были необыкновенные дни. На всю жизнь они запомнились Аркадию. Он начинал рано. Уже в 7 часов поднимался по лестнице большого дома на 12 линии, к Николаю Васильевичу. Брал портфель, две стопки прокламаций. И – в один из отдаленных районов. Он начал со Староневского, с домов, в которых ночевал в детстве. От вокзала до Лавры – по

прямой линии было 40 домов. В каждом – по 30 квартир. Он обошел их все – и в каждой квартире – в ящике для писем и газет – по прокламации. На другой день "Московский Проспект. И Выборгский район. 1000 прокламаций в три дня. И с пустыми руками в Гатчину.

Маргарита разинула рот от удивдения:

– Как, уже?

– Уже. Давайте еще.

Он говорил сугубо деловым тоном. Не намекая ни одним словом на позавчерашнее. Она дала еще тысячу. Сказала (пародируя продавщицу) : "Не лезьте вперед, гражданин, Вы не один". За неделю было разбросано еще 2 тысячи. Все. Запас иссяк. Всего их было 5 тысяч. И кроме Аркадия распространяли прокламации еще двое, которых Аркадий не знал.

На другой день, когда он заявился к Николаю Васильевичу, тот его в квартиру не впустил, вышел сам к нему на лестницу, сказал: "Аркадий! Больше не могу. соседи мне сказали, что к ним приходили, спрашивали, кто у меня бывает. Извините, все. У меня ведь на руках старуха-мать. Больше ко мне не приходите. Я и Всеволоду, как это ни неприятно, отказал от дому. И никакой нелегальщины больше хранить не могу'

До свиданья".

И он подал руку.

Куда идти? Куда нести сумку с прокламациями? И вдруг Аркадий вспомнил Михаила Константиновича Валовского – пьянчужку-учителя. Узнал в

Ленсправке его адрес. Он, оказывается, жил в Лесном.

И Аркадий заявился к нему. Он жил в двухэтажном деревянном домике на 2-ом Муринском.

Это около конечной трамвайной остановки. Дальше трамвай не ходил. Начиналась сельская местность. Зеленые деревья, садики, колодцы.

Аркадий явился к нему днем, рассчитывая, что летом учитель будет дома. Куда ему идти в каникулы.

Дверь открыла простая женщина – в платке.

"Извините, здесь живет Михаил Константинович Валовский?"

– Здесь. Заходите.

Комната одна, разделенная занавеской. В первой части столик, придвинутый к окну. Раскладушка. У окна мальчик лет 14-ти, блондинистый, кудрявый. Витька – сын Михаила Константиновича.

За занавеской большая кровать, стол письменный. На столе фотографии. Сам учитель в разных позах. За столом сидел Михаил Константинович в рубашке, с расстегнутым воротом. И, как видно, уже на взводе. Перед ним бутылка.

Он был в благодушном настроении.

Увидев Аркадия, заулыбался: "А, Аркадий! Вот это сюрприз". – И к жене (женщина в платке оказалась его женой) :

– Вот видишь, как меня ученики любят. С Васильевского приехал, не поленился. Верно ему помогать надо. В Институт готовится.

– Ну вот и хорошо, – сказала женщина.

– То-то, стерва, – выругался неожиданно Михаил Константинович, закуривая трубку, и скомандовал Аркадию:

– Бери табуретку. Садись. Чего тебе надо писать? На какую тему? И куда поступаешь? А это что у тебя в чемодане? Ты что, на жительство ко мне переехал, что ли?

Ну что ж, помещение, как видишь, огромное. Трое на четырнадцати метрах.

– Правильно, Михаил Константинович, а я решил жениться. Да родители против. Так вот я с молодой женой сегодня к Вам. Ничего? Правда, она беременна, на сносях. Ну что ж, шестеро – как-нибудь поместимся. В тесноте, да не в обиде.

Жена Михаила Константиновича и Витька за занавеской прыснули. И Михаил Константинович улыбнулся.

– Ну, раз так, – давай выпьем. Надо спрыснуть новоселье и свадьбу сразу.

И обратясь к жене:

"Стерва! Дай стакан!"

"За что Вы ругаете супругу?" – не удержался Аркадий.

Клавдия Ивановна (жена), давая стакан и поллитра, сказала:

"Это не ругань, – это у него ласкательное прозвище".

"Ну да, ласкательное, как же", – сказал Витька.

Михаил Константинович налил водку в оба стакана. Отрезал два ломтя хлеба, дал Аркашке и себе

взял по луковице, круто посолил, сказал: "За твое здоровье". Чокнулись. Аркашка опрокинул стакан. Водка крепкая и почти без закуски. Комната закружилась. Михаил Константинович раздвоился.

Аркадий осмелел: "Михаил Константинович! Дядя Миша! Никуда мне готовиться не надо. Я к Вам по другому делу. Выйдемте, погуляем, и я Вам все расскажу".

Михаил Константинович пыхнул трубкой, сказал: "Пойдем".

Вышли. "Ну пойдем к пруду – самое лучшее место в Лесном".

– Идемте.

Аркадий присматривался к учителю. Конечно, пьян, но соображает все. И ничего, в норме. На ногах держится хорошо. Сам Аркаша размяк, все в глазах двоилось. Он чувствовал, что покачивается. И лишь усилием воли держался: он ни на минуту не забывал о цели своего прихода.

Пришли. Сели около пруда, огромного, на скамейке. Аркашка чувствовал, что сейчас надо начинать. И не решался. Наконец, стал про себя считать до двадцати. Привычка, сохранившаяся с детства. Он всегда так поступал, когда не мог решиться на что-нибудь. Произнеся про себя "Двадцать", он одним духом выпалил:

"Михаил Константинович! Вы спрашивали, что в чемодане. Я не ответил на Ваш вопрос. Там не мои вещи".

Михаил Константинович сказал рассеянно:

"Да, так что же?"

– Прокламации, – вдруг выпалил Аркаша.

– Ты что, парень, совсем опьянел? – спросил дядя Миша. – Или провокатор?

– Нет, я не пьян и не провокатор.

Михаил Константинович! Вы же всегда были свободомыслящим. Мы это знали, и потому любили ваши уроки. Вы человек из народа. И хотя есть у Вас слабости, но Вы свой человек...

– Ну и что?

– Вы знаете о партии социалистов-революционеров?

– Это эти "либералы с бомбой".* Керенский, Кронштадтское восстание. Ну и что?

– А то, что эта партия жива и действует. Я к Вам пришел от нее. – И Аркаша взволнованно и горячо рассказал Михаилу Константиновичу, правда, не все, но кое что из того, что он видел за последние месяцы. И заключил просьбой подержать чемодан в течение трех дней, пока он все разбросает.

Дядя Миша молчал. Потом встал, сказал: "Пойдем". По дороге спросил: "Так три дня, говоришь?"

– Да, на три дня.

– Ну ладно. На три дня так и быть. Можно. Только если когда-нибудь, кому-нибудь, убью...

Я шутить не люблю. Помни. На дне моря достану.

– Есть , дядя Миша, убивайте. Но сейчас на три дня.

*Насмешливое прозвище эсеров, данное им Лениным.

– Ладно!

Пришли. Клавдии Ивановны не было. Дверь отворил Витька. Михаил Константинович задвинул чемодан под кровать.

Он стал серьезным, суровым. Витьке сказал:

– Этого парня запомни. Если придет без меня, пусть берет из своего чемодана, что ему надо.

Витька кивнул: "Хорошо".

И Аркашке: "Я ведь из Астрахани. Не из интеллигентов. Отец был сторожем, мать и сейчас малограмотная. В детстве был беспризорным. Потом окончил рабфак, Институт. И у меня правило простое: для товарища – все тут. А для предателя – нож. Понял?

– Понял, Михаил Константинович. Я ведь знаю и потому к Вам пришел.

– А сегодня что делать будешь? Чемодан-то у меня.

– Ну и что ж чемодан? У меня портфель есть.

– То-то.

Аркадий простился и с Михаилом Константиновичем, и с Витей.

На другой день пришел вновь. Михаил Константинович на этот раз был занят: репетировал ученика.

Кивнув головой, показал на ученика.

Аркадий выдвинул чемодан в другую половину комнаты, где был Витька. При Витьке открыл чемодан, переложил часть прокламаций в портфель. Ушел.

И наконец в последний раз. В чемодане оста-

лось немного: на донышке. Все выгрузил в портфель.

Михаил Константинович спал, покрытый засаленным, старым одеялом. Витька сказал: "Отец болен, повышенная температура. Видно простудился".

Предложил чаю.

"Читал Ваше, – он кивнул на портфель. – Тайком от отца. Но ведь Вы предназначаете к распространению. Значит, не рассердитесь.

– Да нет, не рассержусь.

– Зачем Вы это делаете?

В ответ Аркадий прочел целую лекцию:

О горе народном.

О светлых идеалах.

О борьбе за правду.

Витька внимательно слушал, потом сказал:

"Ничего из этого не выйдет".

– Почему?

– В жизни никогда ничего ни из чего не выходит.

Они сидели вдвоем. За окном была темень. Шумел лес. Крохотная лампочка (в 25 свечей) освещала комнату. На стуле были развешаны штаны Михаила Константиновича. Сам он, больной и пьяный, храпел в другом углу.

Было тоскливо. Аркадий сказал: "До свиданья". И подал парнишке руку.

Его замечание о том, что в жизни никогда ничего ни из чего не выходит, – запомнил.

Формула пессимизма.

* * *

Через несколько дней пришел к Маргарите с пустым чемоданом. Она на этот раз была лаконична.

"Вот что, Аркадик, через три дня Вам надо быть в Пскове. Поезд отходит вечером. Я Вам взяла билет. На 11 часов. Когда приедете, погуляйте по городу. Побывайте в соборе. Очень красивый собор. А в 12 на реке Великой – улица Красной конницы 42 – баня.

– Баня?

– Да, баня, не смотрите на меня так. Возьмите билет, купите мочалку. Все честь честью и мойтесь, как порядочный человек.

Аркашка нахмурился. Он почуял издевку.

– Вы что, смеяться вздумали?

– Да нет, нет, – улыбнулась она, – там в бане к Вам подойдет Корней. И все Вам скажет. Кажется, опять предстоит экспедиция в том же роде. А теперь давайте пить чай, мой мальчик, – сказала она ласково. Аркадий тотчас растаял: "Чего это ему вздумалось назначать мне свидание, да еще через Вас, в таком месте?"

– Сами понимаете – мы выбираем такие места, где нас никто не будет искать.

– Понимаю.

– Аркадик, не сердитесь на меня. Быть может, скоро мы расстанемся. Может быть, если бы мы с Вами встретились в другом месте и в другой ситуации, все было бы по-другому. Вы мне нравитесь. "К чему лукавить", – как говорила Татьяна Ларина.

– Но я другому отдана, и буду век ему верна, – так что ли? – сказал Аркадий.

– Да, но и не только это. Скоро все узнаете. Так, значит, завтра в 11 часов поезд с Варшавского. Не забудьте.

* * *

Все так и было. Недалеко от собора, у Псковского Кремля, на набережной реки Великой, у ее крохотного притока – банька. Стародавняя. Мылись в ней простые люди – псковские рабочие, старички, подгородние мужички. В предбаннике – гвалт. Многие приходили сюда с поллитром. Выпить после баньки.

Аркадий разделся, пошел мыться. Во время мытья кто-то тронул его за плечо: "Парень, потри мне спину". Обернулся. Корней. Голый. С шайкой в руках. Аркадий его оглядел. Здоровый. Крепкий. Атлет. Ярко выраженные мускулы.

Аркашка хлопнул его по брюху... сказал, входя в роль блатного:

– Какого фуя! Зачем ты меня сюда притащил? Совсем ты чокнулся!

Тот ответил: "Пойдем". Отошли в угол. Корней сказал: "Вот что! Нужны деньги. Сегодня едем в Новгород. Конечно, раздельно, в разных вагонах. На окраине города, Ильинская 42. Крохотная церковь. Древняя. Теперь в этой церкви – керосиновая лавка. Глухой район. Там я буду в 10 часов. Напротив скамейка. На всякий случай посиди. Коли тревога, шухер, милиция, начинай громко ругаться матом. Ты, мол, пьяный. Чтоб я услышал. Переночуешь в

Доме крестьянина. Займи койку не на свое имя. Паспорт другой я дам. Утром – в Ленинграде. И жди меня на Витебском вокзале. В ресторане. В одиннадцать. Я там буду. А теперь потри мне спину. И расходимся".

Потерли по русскому обычаю друг другу спины мочалками. Корней сказал: "Теперь иди себе. В предбаннике подойду".

В предбаннике, действительно, подошел, уже одетый. Сказал:

"Надевай штаны. Живо, При выходе суну тебе паспорт в карман пиджака".

Действительно подошел. Ждал при выходе. Сунул паспорт, сказал:

"Пока. Поезд в Новгород – в час. Деньги в паспорте".

На вокзале Аркашка зашел в ресторанчик, пообедал. Сунул руку в боковой карман. Паспорт на имя Савелова Дмитрия Павловича. Год рождения Аркашкин. И что самое невероятное – фотография Аркашки. Прописка ленинградская.

В паспорте пятисотенная бумажка.

Аркашка обалдел от изумления. Подумал про Корнея: "Это Гершуни, настоящий Гершуни".*

* * *

---

*Гершуни – знаменитый эсер. Руководитель боевой террористической организации. Известный своей храбростью и изобретательностью.

И вот Аркашка в Новгороде. Древний город. Церкви на каждом шагу. Старинные. Но не действующие. Превращенные в лавки, склады. Люди почти все с льняными волосами. Окают. Глухая провинция.

Аркашка побывал в Кремле. Посетил Софию. В соборе, превращенном в музей, лежали мощи древних новгородских угодников. Нетленные. Особенно хорошо сохранилось тело Святителя Никиты Новгородского. XII века. Аркадий, вызывая всеобщее изумление, сделал три земных поклона, приложился к мощам. Отходя подумал: "Для конспирации бы не стоило".

Пришел в Дом крестьянина. Недалеко от Кремля. Почти рядом. Лег и заснул богатырским сном.

Проснулся, когда уже стемнело. С большим трудом нашел Ильинскую улицу. Это, собственно говоря, не улица – переулок. И в нем крохотная церковь. Старинная. Теперь – лавка. Двери заперты. И на них засов. Старинный, оставшийся от древности.

Нашел и скамейку. Под деревом. Тишина. Сидеть так было хорошо. Ни думать, ни заботиться о чем либо не хотелось. Странно было,что сейчас, быть может, придется шуметь, кричать, ругаться матом.

Так сидел долго.

Вдруг, как из-под земли, появился Корней. Положил руку на плечо, сказал: "Пошли!"

– Откуда ты? И почему с таким опозданием?

– Все уже сделано.

– Как? Засов на месте.

– Ребенок! Я же пролез с другого переулка, параллельного. В подвал. В подвале начинается винтовая лестница. По ней – в бывший алтарь.

И дело в шляпе.

– Да ты Гершуни!

– Гершуни – не Гершуни, но что-то гершунистое есть.

– Однако ты остряк-самоучка.

– Да, но в данном случае это плагиат. Есть анекдот: в балете один восторженный еврейчик говорит другому про балерину:

"Посмотри, это же Венера!"

Другой, скептик, отвечает:

"Венера – не Венера, но что-то венерическое есть".

Корнейка был в хорошем настроении, весел, шутил.

– Ты не пьян?

– Что ты? Это при исполнении служебных обязанностей, партийного поручения? Мы не так воспитаны.

– Тебе Маргарита ничего не говорила?

– Про что?

– У нас была с ней сцена у фонтана.

– Какая? Ты что, в роли самозванца?

– Да. И получил по морде.

– Правильно. Я же говорил – не лезь.

Но Аркадию все-таки было приятно, что мужу она ничего не сказала. Это делало ее как бы сообщницей. Установило какую-то интимность.

РАЗГОВОР НА ГОСТИНЦЕ

Они бродили по городу. Было за полночь. Тишина. Чудесный старинный город. Сказочный. Кремль. Башни древние, полуразваленные. И чудесный, широкий Волхов.

Это не московский Кремль, какой-то игрушечный, лакированный, напоминающий иллюстрации из "Огонька".

Корней спросил: "Ты здесь в первый раз?"

– В первый.

– Ну раз в первый, вот что – пойдем на Гостинец. Это на том берегу Волхова. Против Кремля. Бывшее торговое место. И там древняя церковь. Так и называется: Никола-на-Гостинце.

Пришли. Корней все показывал, как будто это было его хозяйство. Присели на ступеньки древнего храма.

Аркадий спросил:

"Теперь вот что. Скажи на милость: откуда у тебя мое фото – на паспорте?"

"Сфотографировал".

"Когда?"

"Тогда – в ресторане".

"Каким образом?"

"А вот каким".

И Корней, расстегнув пиджак, показал крохотный фотоаппарат, висевший у него на шее.

– Однако. Как же без моего ведома?

– А вот как. Не все тебе надо знать. Я уже тогда предвидел, что может понадобиться паспорт.

А фотоаппарат у меня откуда?

– Откуда мне знать?

– Стукача убил и с него снял.

Аркадий вздрогнул от неожиданности и отвращения:

"Как, ты убил?"

"Убил. Чудак. Ну если бы я тебе рассказал, что я был на войне и врага убил, ты же бы не ужаснулся? А здесь какая разница? На войне как на войне. Препоганый был тип. Из провинциальных общественников. Хвастался в стенгазете, что разоблачил вредительскую диверсию. Идиотская история, выдуманная идиотами из ГПУ, что якобы в магазине специально людей колбасой травили. Да еще с антисемитским душком. Мол, евреи. А я сам хоть к евреям особой симпатии не питаю (ведь из новгородцев, – в Порхов переехал уже потом), но черносотенцев, антисемитов ненавижу. Охотнорядцы. Сволочь. А этот посадил всех соседей и к нашим ребятам подлезал. Кое-что разведал.

– И ты его убил?

– Убил. Подстерег под Псковом. Когда шел по дороге из клуба. В поле. Подошел, и под лопатки. Чик. Вот этим.

Он вынул из брючного кармана финку.

– Не раскаиваюсь. Собаке собачья смерть.

– И что же? Не разыскивали? Не подозревали?

– Так ведь то в Пскове. А я сделал свое дело и

в Порхов. Похоронили без шума. А я, уходя, полез к нему в карман, нашел ленту – несколько десятков фото, заснятых, и микрофотоаппарат.

Аркаша, друг сердечный, да не смотри на меня так. Я же не чудовище и не дикий зверь. И не палач. Я всего лишь солдат.

– Солдат?

– Да, солдат русской революции. Сам же говоришь: "В борьбе обретешь ты право свое". А борьба есть борьба – это тебе не игра в "Свои козыри".

Он обнял Аркадия, но Аркаша от невольно отстранился.

Тот сказал: "Эх ты, барич", – и махнул рукой.

– А Маргарита знает?

– Не все. Незачем ей знать.

– А почему, собственно говоря, ты именно к эсерам пошел, Корней? – спросил Аркадий.

– Как тебе сказать? Есть в мире два типа людей: романтики и мещане. Мещане живут серой, нудной жизнью. Среди них есть хорошие люди, но они все делают серым. Себе под цвет. Вот ты глубоко верующий. Даже фанатик. Но ведь христианство испортили мещане.

Христос – это порыв, это смелость, это дерзновение. Жизнь должна быть чудом, прорывом в вечность. Это немного осталось в богослужении. Литургия – ведь это чудо. Преодоление прозы, серой, немощной действительности.

А потом пришли мещане – попы (конечно не те пламенные, вроде Франциска, Серафима, Терезы), а посредственность, мещане. И вот Церковь –

проповедь умеренности и аккуратности. Чиновники в рясах. Обрядоверие. Лишь изредка полусумасшедший мистик вроде тебя.Ты ведь, – Николай Васильевич говорил Маргарите, – видения видишь, какие-то стигматы, кровь выступает.

Тебя, конечно, ни мещанином, ни серым не назовешь. Вот так и в политике. Мещанство, законопослушничество, чиновничество – это большевизм. Это сталинщина. Конечно, и здесь есть романтики. Но теперь их к ногтю. Последние романтики – троцкисты. И их к ногтю.

А эсеры – это свобода, это ширь, это русское раздолье, русские степи. Потому я и пошел к ним. И ты ведь поэтому пошел к ним?

– Поэтому, – задумчиво сказал Аркадий.

– А теперь о деле, – вдруг стал серьезным и сдержанным Корней. – Не думай, что прокламации разбрасывал ты один. Не ты один. Было четверо. И один из них попался. Самый ненадежный из всех. Арестовали неделю назад. Слабак. Расколется. Знаю. Привлек его потому, что больше людей не было. Моя вина. И уже что-то начинается. И к Николаю Васильевичу подкапываются, и моих соседей тормошить стали. Типографию пришлось закрыть. Станок зарыл. Деньги, которые сегодня (он запнулся) экспроприировали, завтра отправим в Чимкент. Ссыльным. Это наш последний взнос. А мы с Марго смываемся.

– Как так?

– Так. Мы с ней венчаны, но не расписаны. она выходит замуж за секретаря американского посоль-

ства. Он холостяк. Фиктивный брак. И ее увозит. А я уже две недели как женился на дочери бельгийского дипломата. Тоже фиктивно. Уезжаю. Через границу. И прямо в распоряжение Виктора Михайловича*.

Вот так. Остаетесь вы. Держи связь с Пятигорским. Инструкции даны будут потом. Не исключено, что приеду я. Конечно, иностранцем с другим именем. Далее: деньги я передам тебе завтра в ресторане Витебского вокзала. Как было условлено. И ты отнесешь по данному мной адресу. На Охту. Я бы дал тебе деньги теперь. Но ведь ты не от мира сего. Задумаешься, зазеваешься, – и вытащат, как пить дать.

А теперь все. Иди в Дом крестьянина. А меня (он посмотрел на часы) приятель на машине подвезет.

Значит, понял? Завтра с первым поездом: в шесть. Не проспи. Надо быстро. Пока ограбления керосиновой лавки не заметили. Заметят они в 8 часов, когда лавка откроется. В масштабах провинциального городишка – это сенсация.

Ну, значит, до рюмки, как говорят у нас в Новгороде.

Аркадий его обнял и поцеловал.

Тот усмехнулся: "Это уже плагиат. Из Достоевского: "Легенда о Великом Инквизиторе". Или милостыня: дескать, и убийцу жалеем. Настолько мы святы.

---

*В.М.Чернов – председатель Партии социал-революционеров. Умер в 1952 году. В это время проживал в эмиграции.

– Не говори глупости, Корней. Тяжело мне с тобой расставаться.

– Что делать. Ну, пока.

И он, выведя Аркадия из церковного двора, махнул ему рукой и скрылся в переулках.

* * *

Витебским назывался бывший Царскосельский вокзал. Это был хронологически первый вокзал в России. Так же, как линия Петербург – Царское Село, первая железная дорога, выстроенная в России во времена Николая I. Затем уже следовала линия Петербург – Москва и Николаевский вокзал. В вокзальном ресторане на стене – фреска. Первый в России паровоз – кукушка. И прицепленный к нему вагон – в виде открытой кареты – в которой Николай I со своей семьей: императрица с детьми, в том числе красивый подросток в офицерском гвардейском мундире – будущий царь Александр II.

Это лучший из железнодорожных ресторанов, и спокон веков там традиционное блюдо: омлет с сыром.

Там бывал не раз Аркаша с родителями в детстве, когда его семья летом выезжала на дачу в Павловск. И сейчас он сидел под фреской – первым русским поездом – когда к нему подошел чистенький, свежий, одетый в какой-то полувоенный китель (такие в те времена носили многие) Корней.

Подойдя к столу, кивнул головой, сказал: "Здорово! Что-нибудь уже заказал?"

"Да нет, тебя ожидаю. А заказывать здесь надо омлет с сыром. Традиционное кушанье. Я еще с родителями его ел, когда мы здесь обедали (мне тогда 6 лет было, – мы в Павловске жили).

– Ага, закажем. – И подозвав официантку, Корней заказал два омлета, бутерброды, чаю и два бокала вина. Затем когда отошла официантка, сказал:

"Когда поедим, возьмешь чемоданчик, – он указал на крохотный чемоданчик – из тех, в которых актеры обычно носят грим, – здесь 10 тысяч. Посажу тебя на такси. И на Большую Охту (Духовской переулок 6). Там живет старичок безобидный – Димитрий Иванович. Врач. Пенсионер. Старый петербуржец. В деревянном домишке. Это дядькин шуряк. У него оставишь чемоданчик. К нему зайдешь через месяц, – ему один человек напишет письмо из Подмосковья – из-под Димитрова. Если все благополучно, будет написано: Костя с Машей (это мы с Маргаритой) уехали в отпуск. Если Маргарита одна уедет, будет: "Маша уехала в отпуск, Костя – здесь". Это будет значить, что меня посадили.

Это, впрочем, маловероятно. Сейчас, когда только что установлены (да еще с таким трудом после поездки Литвинова в Америку) дипломатические отношения*, вряд ли они захотят осложнения. Тем более, всей картины у них быть не может. Говнюк, о котором я тебе говорил, знает очень ма-

*Дипломатические отношения между СССР и США были установлены в 1933 году.

ло: только то, что есть один псковский парень, который один раз изготовил эсеровскую листовку – как, где и каким образом, и как мое настоящее имя он не знает.

Стало быть, пока не знают и они – только ищут.

Где находится печатный станок, знает Пятигорский. С ним держи связь. Об остальном вчера договорились. Нынче – стрелой* – Марго выезжает в Москву. Ей теперь можно шиковать. Вчера в гатчинском Загсе брак официально оформлен. Нарочно американец приезжал. Я поеду отдельно. На авто до Любани. Там вскочу на любой поезд. Надо сбить их на всякий случай со следа".

В это время подали два омлета. Бокалы. Чокнулись. Он сказал:

"Твое здоровье, парень. Хороший ты все-таки пацан. Отчаянный. Я люблю таких. Буду тебя вспоминать". Стали с жадностью пожирать омлеты. Принялись за чай.

Корней откинулся на спинку стула. Закурил. Сказал:

"Это все. Мы могли бы уже расстаться без всяких нежностей. Но Марго хочет с тобой проститься. Сегодня под вечер приезжай в Павловск. Там, в парке, есть беседка – "Хижина дяди Тома". Жди в 7 часов. Будем там".

– А, так она помнит обо мне, – сказал с просиявшим лицом Аркадий.

*"Красная стрела" – поезд-экспресс Ленинград-Москва, с одной остановкой – Бологое.

– Еще бы, – сказал Корней, – какая баба забудет того, кто в нее влюблен. Да еще по уши. Ни одна баба за это не сердится. Ведь все, что ты делал, в основном для нее.

– А не может быть так, что брак с американцем станет настоящим?

Корней усмехнулся:

"Не думаю. Вы все гости дневные – я ночной. К тому же, беременна".

"Да?"

"На четвертом месяце. Это одна из причин, почему надо форсировать. А все это сделалось через Виктора Михайловича. Он .старый друг ее отца. Дядька мой с ним связался. А она поставила ультиматум, чтоб муж (отец ее будущего ребенка) тоже ехал. Ну и познакомили меня с бельгийкой. Все. Договорено. Я еду одновременно с ней, – в одном самолете. Коли не задержат. Это будет через неделю, а сообщат вам через месяц. Молись, чтоб все было хорошо. Мы ведь верующие. И я тоже".

Аркаша искоса на него глянул.

"Чего глядишь? Верующий и я. Хоть попов и не люблю. Но Бог все-таки есть. И Христа люблю. Иногда читаю Евангелие. Оно у меня есть".

– Пошли. Посажу на такси.

Через 10 минут Аркашка сидел в такси.

Корней издали помахал ему рукой.

* * *

Охта – отдельный, маленький провинциальный городок. С деревянными домишками, летом утопа-

ющий в зелени. И все-таки удивительно он вписывается в Питер.

Все здесь пропитано Питером, все говорит о Питере. И даже мост, связывающий Охту с остальным Питером, назывался раньше мостом Петра Великого.

Питер, Питер – чудесный, русский, неповторимый город.

Кто может его забыть из тех, кто видел его хоть один раз. "Аще забуду тебе, Иерусалиме, забудь мене десница моя".

Такси подъехало к небольшому деревянному домику против Духовского собора, который тогда еще снесен не был. На дверях дощечка: Димитрий Иванович Головин. Доктор медицины.

Звонок. Дверь открывает старичок, невысокий, в пенсне. Аркадий вежливо поклонился.

– Димитрий Иванович!

– Я самый.

Меня просили передать Вам чемоданчик.

– А, Вы от Корнея? Пожалуйста. Очень рад.

Но войти не пригласил. Стоял в дверях. Аркадий вручил ему чемоданчик.

– Очень хорошо. Спасибо.

Аркадий замялся.

– Корней просил сообщить мне, если будет письмо из-под Димитрова.

Доктор вынул из кармана записную книжку. Маленькую, с засунутым в нее карандашом.

– Ваш адрес?

– Ленинград. Тучкова набережная. Биржевой переулок 1/2, кв. 27.

– А, это на Васильевском. Знаю. Ваша фамилия, имя?

– Левушин Аркадий Михайлович.

– Хорошо. Я Вам перешлю письмо, если будет. За чемодан спасибо. Скажите Корнею, что все будет передано. Передайте ему привет.

– Спасибо, доктор. До свиданья.

– До свиданья.

Аудиенция на этом закончилась.

ПОЧТИ ПО ДОСТОЕВСКОМУ

А вечером предстояла другая аудиенция. В Павловске. Мальчишка полуголодный, усталый, приехал под вечер. Долго крутился по парку, спрашивал, где здесь "Хижина дяди Тома". Наконец указали: в самом конце парка нарочито грубо сделанная, покрытая глиной, избушка. Видимо, воздвигли ее в шестидесятые годы XIX века, когда американские негры и знаменитый роман мисс Бичер Стоу вошли в моду.

В те времена хозяевами Павловска было семейство известного либерала Константина Николаевича – государева брата.

Хотя и долго разыскивал Аркаша эту избушку, пришел он много раньше назначенного ему срока. Назначено было в семь часов. Когда пришел, не было шести.

Он сел на скамейку, железную, окрашенную в зеленый цвет. Попробовал задремать. Где там: нервы были напряжены. Ни одной минуты он не мог сидеть спокойно. Вышел. Долго ходил по парку. Подошел к чудесному Павловскому дворцу (творение Гваренги, по своему изяществу, простоте – это одно из самых совершенных творений в мире).

Потом вернулся. С надеждой посмотрел на часы. Увы! Они упорно показывали половину седьмого.

Опять ходил. Наконец, семь. Вожделенный, столь долго ожидаемый час. Он насторожился. Принял независимый вид. Начал прислушиваться к каждому шороху.

Увы! Никого не было. Только через десять-пятнадцать минут послышались чьи-то шаги. Он вскочил, как встрепанный, потом опять сел, напряженно глядя на дверь беседки.

Вошли две девушки, с ними какой-то молодой человек – в форме: видимо, курсант. Оглядев беседку и не найдя ничего интересного, вышли.

Опять ожидание, опять случайные посетители. Наконец, нервы притупились, Аркадием овладела сонная апатия. Вдруг шаги. Это ее шаги. Он узнал

бы их из тысячи. Она влетела в беседку. Одетая просто, в своем обычном пальто, но в какой-то новой, очень шедшей к ней шляпке. И бросилась к нему на шею. И целовала его долго, долго. В губы, в глаза, в лицо. И он ее тоже. И потом они начали говорить горячо, прерывая друг друга, бессвязно и восторженно.

О чем? О чем могут говорить влюбленные. Да еще такие, в распоряжении которых несколько минут, а дальше разлука навсегда. Ни он, ни она не могли потом припомнить ни одной фразы. Но он хорошо запомнил ее руки и даже сорванный ноготь на одном из пальцев. И ее шею, и волосы, и родинку на шее.

А она? Она верно запомнила тоже – и его влюбленный мальчишеский взгляд, и его неумелые объятья, и его тоску.

"А вот и Рогожин. Тут как тут", – послышался знакомый голос. На пороге стоял Корней. Все трое невольно засмеялись. Уж очень славно жизнь спародировала роман Достоевского: Павловск. Трое. Двое из них друзья и соперники.

Первая заговорила Маргарита:

"Но я же не Настасья Филипповна". – И вынув из сумочки пудреницу, посмотрела в зеркальце и стала пудриться и охорашиваться. И это было так мило и так к ней шло.

"А я князь Мышкин?" – спросил Аркадий.

"Из советских Мышкиных, – ответил Корней, – который участвует в краже со взломом и кроет матом так, что десять ломовых извозчиков могут у него поучиться".

"Кто? Аркаша?" – смеясь, спросила Маргарита.

"Да, Аркаша. Так что из всех трех персонажей, видимо, я один близок к Достоевскому. Парфен".

Взглянув на часы, сказал жене: "Пора". И к Аркашке: "Цени мою доброту. Устроил тебе свидание с женой. Так что не поминай лихом".

Маргарита подошла к Аркадию, сказала: "Прощайте, Аркадик. Будьте счастливы". И поцеловав его в губы (он запомнил запах хороших духов, верно, поднес ей ее так называемый муж), стремительно выбежала из беседки.

"Ну что ж, еще раз – не поминай лихом. Спасибо за все!" – сказал Корней. Затем ребята крепко по-мужски обнялись, братски расцеловались.

Он сказал: "Оставайся здесь 15 минут, чтоб не видели нас вместе". И вышел спокойно из беседки.

Через 15 минут, когда Аркаша тоже вышел в парк, уже почти совсем стемнело. Народу в парке почти не было. Корнея и Марго уже и след простыл. Еле живой от усталости, Аркадий направился к станции.

КОРОЛЕВА МАРГО

Выйдя из Павловского парка, она вдруг схватила мужа за руку. "Корней, я тебя никуда не пущу".

– Ты что, после поцелуев мальчишки совсем обалдела?

– Нет, я вдруг что-то поняла. Ты же знаешь, у меня интуиция. Поедем вместе. Незачем тебе ехать в Любань. Не может же быть, чтоб гепеушники* были уж настолько дураки, – человек женится на дочери посланника, его жена выходит замуж за дипломата. Оба они уезжают. Муженек шатается по тайным закоулкам. А они сидят и зевают. Это счастье, что они, видимо, просмотрели Новгород. Но не надо искушать судьбу. Потом ведь Любань. Встреча с парнями из колхозов. Это же ведь не Аркаша. Бог их знает, кто они, что они.

– Да, в мою жену они не влюблены.

– Словом, нет, нет, – без тебя я не сделаю ни шагу. Не отпущу. – И она вцепилась ему в руку.

Она вся дрожала мелкой дрожью. Какой-то страх передался и ему.

– Ну ладно, что поделаешь с причудами беременных женщин. Но у меня нет билета.

– Дадим взятку проводнику. Джем даст.

Они поехали в Питер. Вещи находились в камере хранения.

Около вокзала к ним подошел высокий, статный человек, по иностранному, в шляпе.

Поздоровавшись с Корнеем, он сказал: "Итак, представляю Вам мою супругу, – он показал на Маргариту, – Королеву Марго".

---

*ГПУ – ЧК – МГБ – КГБ. Разные названия советской жандармерии. В то время она носила название ГПУ.

– Королеву, а Вы кто же – король?

– Нет, всего лишь принц-консорт. Мистер Буллит* шлет Вам привет и будет счастлив оказать Вам гостеприимство.

Маргарита: ”Джем, я считаю, что Корней должен ехать с нами”.

– О да! Я уже заказал отдельное купе. Вот три билета.

Корней замялся: ”Тогда надо позвонить по телефону, чтоб меня не ждали”.

Она: ”Я сама позвоню”. И побежала к автомату. Подошла к телефону женщина.

– Это Вы, Маша? Говорят из Гатчины. Скажите мужу – пусть не ждет”. И повесила трубку.

Потом ужинали. Американец усвоил шутливо-ироничный тон. Откупорили шампанское. Маргарита смотрела на мужа нежными, любящими глазами. Он также пришел в хорошее настроение. Шутил, смеялся. Прозвонил колокол. Сигнал к отходу поезда. Засуетились носильщики. Камера хранения. Багаж. И вот они уже в поезде. Двое мужчин курят сигары (Джем угостил – Корней видит их в первый раз, с непривычки закашлялся). Маргарита смеется. Они едут. Куда? В неизвестность. Питер позади.

* * *

На другой день.

Звонок телефонный в квартире на Васильевском. Мужской голос.

---

*Посол США в Москве (1933-1939).

– Говорит Пятигорский. Аркаша, приходите.

Через два часа Аркадий поднимается по лестнице. В "Институте театра и музыки". Навстречу Пятигорский: "Несчастье. Автомобиль, на котором ехал Корней в Любань, под Тосно разбился. Из всех пассажиров уцелел только шофер. Видимо, Корней убит!"

"О Господи! – воскликнул Аркадий, – это точно?

– Иначе быть не может. Он же должен был ехать в Любань. С двумя парнями. Сейчас увижусь с шофером. Идите ко мне в комнату и ждите. Вот Вам ключ.

Он вошел (в аспирантском общежитии) в комнату Пятигорского. Безличная комната аспиранта. Письменный стол, этажерка с книгами, кровать.

Аркашка рухнул на колени, стал молиться – своими словами – обращаясь к Другу, как он с детства называл Христа.

"Помоги Корнею!"

"Спаси Корнея!"

"Воскреси Конрея!"

Через 20 минут вбежал Пятигорский, возбужденный, нервный, но радостный.

Аркашка смущенно встал с колен.

Пятигорский, хлопнув дверью, заговорил возбужденно, в первый раз на "ты":

"Успокойся! Жив и здоров твой Корней. Сейчас, видимо, в Москве, в американском посольстве".

– Что такое?

– А то, что за полчаса до отъезда телефон: женский голос сказал жене шофера, чтоб Корнея не ждали. И они поехали без него. Наши приятели со Шпалерки* в дураках. Конечно, это они подстроили аварию".

– Но чей же голос?

– Как чей? Конечно, Марго. Королева Марго – ура! Генрих Наваррский спасен. А ты успокойся. На тебе лица нет. Неужели ты его так любишь?

Аркашка нервно засмеялся.

"Слушай, – он также перешел на ты, – у меня деньги. (От пятисотенной бумажки еще кое-что оставалось). Пойдем в Дом Архитектора. Выпьем в ресторане за Королеву Марго".

– За королеву Марго? Выпьем. Видимо, это она спасла своего мужика. Не пустила его в Любань. Ай, да Марго!

---

*С 1933 года Политическое Представительство ОГПУ в Ленинграде находилось на Шпалерной улице.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Через две недели собрались опять у Пятигорского. "Знакомые все лица". Поршнев, Тамбовцев, Аркадий и сам хозяин.

Пятигорский начал:

"Друзья! Ну вот опять мы четверо. Главные уже доехали. Знаю (вчера мне сказали) – у них все в порядке. Уже в Париже.

– Это точно? В Париже?

– Точно. Теперь все на нас. И кое-что должен сообщить. Это от Виктора Михайловича. Там у них – перестройка. Решено объединить все социалистические и демократические силы, так как все разногласия между "серыми" и "седыми" перечеркнуты*.

Отныне все будут называться одним термином: "Русские социалисты". Руководство – Чернов, Абрамович, Дан и другие. Нам тоже многое придется пересмотреть: старые приемы (эксы, террор и так далее) видимо, следует отбросить.

Тамбовцев: "Слава Богу!"

"Теперь главный метод: агитация за демократию, союз со всеми сторонниками свободы: меньшевиками, демократами, оппозиционными коммуни-

*"Серые" – эсеры, "седые" –социал-демократы. По старой терминологии, принятой в быту еще до 1917 года.

стами (особенно троцкистами – боевыми ребятами). В частности, есть возможность связаться лично со Львом Давидовичем – в Норвегии".

Аркадий: "А как же с теоретическими разногласиями? Я, верующий христианин, не могу быть единым с воинствующим атеистом Троцким, с марксистом Абрамовичем и другими".

– Сотрудничать, Аркаша, или быть единым. Никто тебя не заставляет быть единым. Как говорят в Одессе: если Вам не нравится Шапиро, не кладитесь с ним спать".

– "Если тебе не нравятся Троцкий с Абрамовичем – "не кладись с ними спать". А сотрудничать в практической деятельности можно со всяким, конечно, оставаясь самим собой.

Кроме, конечно, черносотенцев, фашистов или сталинистов, – с ними нельзя, потому что цели у нас не те. Нашей непосредственной целью является борьба за демократию. Тот, кто сейчас за демократию – с нами и мы с ними. Тактика. Ты, Аркаша, без ума от двоих: Марго и Корней. Ты за них пойдешь в огонь, – и с ними, куда угодно. И мы их любим. Конечно, они порядочнейшие люди и не способны не то что убить, но и пальцам тронуть кого бы то ни было.

– Ну да! Еще как способен Корнейка. Он-то не способен? – сказал Поршнев. (Аркадий молча смотрел в окно).

– Но логически их тактика ведет к индивидуальному террору. А это не только бессмысленно, но лишь приведет к бесполезным жертвам. Наша зада-

ча – агитация среди молодежи. Собирать всех в единый фронт. Так-то. Сейчас я налаживаю связь с ребятами из троцкистских кругов. Сейчас ведь не 17-ый, 18-ый, а только что встретили 1935-ый. Так-то.

Ребята промолчали. И вскоре разошлись.

* * *

Прошли еще две недели. Аркадий встретил в церкви Николая Васильевича. Тот сказал: "Прискорбное известие. Умер дедушка Всеволода. Хоронят на Смоленском".

– А где его будут отпевать?

– У князя Владимира, на Петроградской. Храм на Смоленском ведь обновленческий. Приходите на поминки. Всех зовут. Будет владыка Амвросий.

* * *

Поминки. В том же доме. На острове Голодай. За тем же столом, где сидели тогда и где два дня назад лежал покойник.

Все те же. Преосвященный Амвросий, мама Всеволода, тетушки, приехавшие из Боровичей, – молодые друзья Всеволода (в том числе и Аркадий), на диване Сонечка Иванова с Витковским (теперь это был ее муж) – молодожены. Тут и Марья Прокофьевна – соседка.

Ели блины, традиционный мед.

Было тесно и душно.

Стали выходить на лестницу, на свежий воздух. Там, у крыльца, дыша морозным, свежим воздухом, стояли Сонечка и Аркадий. Аркадий сказал:

"Так что ж, Сонечка, о Всеволоде совсем забыли?"

– Нет, нет, не забыла. Такие, как Всеволод – лучшие. Таких больше нет. И наверное не будет. Это – святые. Но надо жить.

– Я вас еще не поздравил. Ну как Анатолий? Все в порядке? Не раскаиваетесь?

– Вы же его знаете. Это же Ваш товарищ по техникуму. Он – хороший. Ровный, спокойный человек. С его мамашей не ладим. Но ведь мы будем жить у моих.

Подошел автомобиль.

Гости стали спускаться с лестницы. Послышались голоса: "Владыка уезжает".

Епископ сошел с лестницы.

Было пять часов вечера. Там, у взморья – закат. Зимний, питерский, ранний закат.

Владыка сделал несколько шагов в направлении взморья. Залюбовался закатом. За ним потянулись священники (их было трое). И вдруг Аркадий увидел: лица у них красные, как бы обагренные кровью. И он вспомнил свой сон.

Епископ вздохнул:

"Бедный Всеволод". Кто-то сказал, процитировав Тютчева:

"Знать он от Бога был достоин иного, лучшего венца".

Сонечка потупилась.

Епископ задумчиво произнес: "Аксиос!"

– Достоин, – перевел Аркаша.

Епископ осенил всех общим благословением Сел в автомобиль. Автомобиль тронулся.

* * *

Вернувшись с поминок, Аркадий увидел у себя на столе конверт. Там открытка из Димитрова, пересланная ему доктором Димитрием Ивановичем.

"Дорогой Димитрий Иванович!

Шлю тебе привет. Надеюсь, ты здоров. У нас все благополучно. Маша и Костя уехали в отпуск. Сердечный тебе привет от всех. Пиши. Твой Павел".

Аркадий машинально вложил открытку в книгу, задумался. Из соседней комнаты – отец:

"Аркадик! Иди чай пить".

Аркадий встал.

Взглянул на книгу, в которую вложил открытку.

Заглавие.

"Жан-Мари Мориак.

"Конец ночи".

Он усмехнулся.

"Конец Вальпургиевой ночи? Нет, еще не конец".

Октябрь 1981 г.
Люцерн

МАРЬЯ ПАВЛОВНА

Маленького роста. В платье, застегнутом до шеи. В 214 школе. На Васильевском. Беседует в коридоре с молодым учителем Аркадием Левушиным.

"Ну да. Это вечный Вы. С Вашим примиренчеством. Вы знаете, я Вас иногда ненавижу за это".

"Ну, слишком Вы желчны, Марья Павловна!"

"Нет, я не желчна. Я ищу справедливость. В прошлом году, когда мне не давали часы*, подвергли остракизму, мой beau frère мне сказал: "Вы должны покончить жизнь самоубийством в знак протеста".

Я ответила: "Я сделаю это! Я написала Жданову"

– Ну и что же?

– Предписали директору меня нагрузить. Мне говорят: "Дарья Никифоровна (директор) просит Вас к себе". – Не иду. Говорят: Дарья Никифоровна не может ехать в отпуск, пока Вы не нагружены. Не иду.

Сама директриса спустилась вниз, сказала "Ну, не надо так воспринимать все трагически. Вы

*Профессиональное выражение учебные часы уроки

возьмете 2-ой класс". – Интересно, как восприняла бы она, если бы в начале года ей бы объявили, что у нее все классы отбирают. Оставляют только географию в 4-ом классе – 27 рублей*.

– Ну, все же теперь образовалось, Марья Павловна!

– Вы говорите совсем как Облонский. Там тоже все образовалось.

– Ну пойдемте пока что в буфет. Попьемте чаю.

– Вы думаете, я всегда такая была? Нет, когда-то в Бестужевских я писала стихи под Майкова. сентиментальные. А теперь не то. Теперь, действительно, не люблю людей.

– Вы были в Бестужевских? Знали Рачинского?

– Играла с ним в горелки. Старик бежит за мной. Запыхался. Мне мигают. "Попадитесь!" Ни за что не попадусь. Бежал за мной. Наконец сказал: "Пас! Не угнаться за вами, молодыми!" – Какой чудесный!

Она на миг задумалась. Лицо посветлело, стало молодым. Взяла стакан чая, сказала:

"И цвела, расцветала земля!
И цвела, расцветала любовь!"

– Вы, кажется, и с Еленой Дмитриевной не в ладах?

– Из-за Вас.

– Из-за меня?

---

*2 рубля – 70 копеек в теперешнем масштабе цен

– Да. Это было не корректно с моей стороны. Она ведь иногда говорит, что если бы не уважение к памяти покойного мужа, она могла бы в свои пятьдесят шесть выйти еще раз замуж. А тут мне говорят, что восемнадцатилетний мальчик поступает к нам учителем, берет 1-ый класс.

Я сострила: ”Вот как раз жених для Елены Дмитриевны”. Передали. Встречаю. Не здоровается. Здороваюсь сама, первая, – не отвечает. ”Что это Вы не хотите здороваться со мной?” – Не хочу. Если вы не уважаете меня, уважали бы мои седины. Что Вы говорили вчера обо мне?”

– Конечно, это нехорошо с моей стороны, но меня бьют, меня унижают, и я ищу у моих врагов смешные стороны. Ну, пойдемте, – звонок.

* * *

После урока. В учительской. Все учителя в сборе. Марья Павловна на диване, декламируя.

”И пело во мне, все пело. Постановление ЦК о ликвидации педологии”. Я об этом говорила еще с Еленой Сергеевной, когда она была у нас педологом. Я всегда была против педологических извращений*.

Елена Сергеевна: ”Вы, кажется, ко мне обращаетесь?”

– Нет, я к Вам не обращаюсь.

– По-моему, это я Елена Сергеевна.

---

*Постановление ЦК ВКП/б ”О педологических извращениях в школе. Июль 1936 года.

– Да, но я к Вам не обращаюсь. Итак, я помню, когда мне надо было перевести в школу дефективных одного мальчика и мы писали на него характеристику, Елена Сергеевна сказала: "Напишите, что ребенок антисемит. Это очень ускорит дело". Я ответила: "Нет, на ребенка я клеветать не буду".

Елена Сергеевна – пожилая, высокая, плотная, с измученным лицом, с красными глазами: "Вы вечно со своими склоками. Тогда Вы написали такую характеристику, что мальчишку надо не в школу дефективных, а представлять к ордену. Невольно возникает вопрос: зачем же вы полгода канючили, чтоб его у Вас забрали в школу дефективных – из-за него Вы не можете работать с классом. Профессор Озерецкий* тогда сказал: "А сама-то учительница нормальная?"

Марья Павловна:

– Партия сказала, правительство сказало, что не я, а он ненормальный, что педологи ненормальные.

– Ну да, может быть, и так. Но Вы желчны, злы. Вы не женщина, а змея. И глаза-то, как у змеи.

– Не надо, не надо меня оскорблять, Елена Сергеевна!

– Ну да, Вы не женщина, а змея.

И хлопнув дверью, Елена Сергеевна выходит из учительской.

---

*Проф. Н.И. Озерецкий. Умер в 1947 году. Известный ленинградский педолог и психиатр. До ликвидации педологии в 1936 г. – директор института.

Марья Павловна, обращаясь к Аркадию: "Напишите басню: "Педолог и змея".

– Да, но какое же нравоучение?

– Что надо жалить глупых педологов.

* * *

На другой день. Опять разговор в коридоре. "Вы подумайте: Сергей Павлович (это заведующий учебной частью), молодой человек наушниками обвесился со всех сторон. Я к нему насчет класса, что мне дали самое худшее помещение.

Он мне: "Я не хочу с Вами разговаривать". Вот и работай после этого.

– Марья Павловна! А Вам не кажется, что Вы из пушек по воробьям?

– Как так?

– Да так, из каждого пустяка делаете трагедию. Ну, то помещение, это. Не все ли равно? Ведь все эти помещения ни к черту не годятся. Помещения же не для школы. Когда-то здесь были частные квартиры. И охота Вам так усе принимать близко к сердцу.

– Вот из-за этого у нас и жить невозможно. Из-за этого русского слюнтяйства.

– Ну, не устраивать же из-за каждой чепухи трагедию. А насчет "невозможно" знаете анекдот?

– Какой анекдот?

– Такой. Приходит к раввину старый еврей. "Так что же, ребе, или возможно построить социализм в одной, отдельно взятой стране или невозможно?" – "Не знаю, придите завтра".

Приходит. "Так вот, социализм в одной отдельно взятой стране построить возможно. Но жить в этой стране невозможно".

Она осталась без слов. Прижалась к стенке. Лицо посветлело. Взяла мальчишку за руку: "Аркадий! Милый! Не надо. Так вот, что вы называете: из пушек не по воробьям. Но Аркашенька! Я хорошо помню старую жизнь. Было же тоже плохо и безнадежно".

– Я не за старую жизнь.

– Ну да! Вы ее и не помните. Но ведь объективно: ничего третьего быть не может. Или то – или это.

– Это и мой папаша говорит. Нет, может быть: и не то и не это.

Она (покачав головой): – Да, это не то, что драться с Еленой Сергеевной.

Он: "Не то! Земля и воля! В борьбе обретешь ты право свое!" Звонок. Разошлись по классам.

* * *

В учительской: "Марья Павловна! Решено перевести Ваш класс этажом выше, как Вы хотели. Там комнаты просторнее и светлее".

– Спасибо. Впрочем, я не знаю, товарищи, может быть, я была не права. Может быть, я кого-нибудь этим стесню.

– Да нет, ничего. Марья Ивановна соглашается: ей трудно подниматься на верхотуру. Что это Вы вдруг стали такой кроткой. На Вас не похоже.

– Ну что ж мы, старики, все ворчим и ворчим, – не все же ворчать! Вот и с Еленой Сергеевной мы уже два года не разговариваем. А, собственно говоря, за что? Ведь ни я у нее, ни она у меня ничего не отняли. Давайте, Елена Сергеевна, помиримтесь!

– Помиримся. Я, право, не знаю, почему Вы так на меня сердились.

– Да все мы друг на друга сердимся. Но ведь и надоест. Из пушек – по воробьям. Так ведь, Аркаша?

– Как будто так.

* * *

Возвращаясь из школы. "Проводите меня, Аркадий! Аркаша, но вот видите, не всегда я уж такая злая. Сказали бы старики: "Яйца курицу учат!" А еще сказали бы про вас: "Мальчишку выпороть надо!"

– Может, и надо, но собственно говоря, за что?

– А за то, что Вы сумасшедший. Ну, в уме ли Вы? В наше время, в советской школе, почти не знакомой советской учительнице, Вы говорите эсеровский лозунг.

– Ну так что же?

– То, что на другую бы напали – быть Вам за решеткой. Но хорошо, что напали на меня. Я ведь и Виктора Михайловича знала*, и бабушку русской

---

*В.М.Чернов. Председатель Партии эсеров и Председатель Учредительного обрания.

революции видела *, – и Михайловский до сих пор у меня есть. Хорошие были люди эсеры. Но мечтатели, мечтатели! А Вы это оставьте. Уж лучше из пушек по воробьям. Прощайте. – Больше она с Аркадием никогда и ни о чем не разговаривала.

И лишь, когда Аркадий ушел из школы, прощаясь, сказала в полголоса: "Земля и воля! В борьбе обретешь ты право свое!"

---

* Екатерина Ивановна Брешко-Брешковская – старейшая русская революционерка.

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

Это было на Среднем Проспекте. Между 11-ой и 12-ой линиями. Чайная или ресторанчик. Трудно сказать. В тридцатые годы все смешалось. Угрюмый старик с седой бородкой колол сахар, принесенный из дому, щипчиками.

Официантка – полная, с пышной прической, разносила чай. В углу около окна парень лет семнадцати уткнулся в газету. Граммофон, включенный в розетку, разносил по пустой чайной чей-то тенор: "Однозвучно звенит колокольчик, и дорога пылится слегка".

Парень вдруг отложил газету, стал есть щи, подумал: "Вот так, с этого можно начать роман".

* * *

Прошло с тех пор 48 лет. И снова мысль: с этого момента хорошо начать роман.

И действительно, с этого момента начался роман.

Старика, который колол сахар, парень знал с десяти лет. Это священник из Андреевского Собора

Отец Константин Томилин. Хороший священник, проповедник, церковный общественник.

В двадцатые годы – несчастье. Бросила его жена. Остался он с сыном – мальчику было 8 лет.

Жили отец с сыном вдвоем, в церковном доме, рядом с храмом. Мать изредка навещала мальчика. Он говорил с бывшей женой кратко, обрывисто.

Как-то в праздник она принесла ребенку костюмчик, но сынишку не застала дома. Он заторопился, сказал: "Оставьте костюмчик. А меня извините, некогда". И, выпроводив ее из квартиры, пошел быстро, не оглядываясь, по лестнице вниз.

В 20-е годы он был полон сил, проповедовал с увлечением, был энергичным, резким, быстрым, хотя и неприветливым, угрюмым. Прошло с тех пор семь лет; и теперь он еще более угрюм. Сын с ним больше не живет – мать взяла его к себе.

И он, старый холостяк, теперь обедает по столовкам, носит с собой щипчики, чтобы колоть ими сахар.

Аркадий Левушин вежливо с ним поздоровался. Священник еле кивнул. В этот момент в ресторанчик ввалилась компания. Трое парней – нахальных, полупьяных, – с ними две девчонки. Официантка засуетилась около них. Спросили водку и пива. Стали задирать Аркашку.

"А, и этот богомол тут. Пан Пилсудский" (таково было прозвище парня, когда он учился в школе).

Аркашка отмалчивался, доедал обед. Девчонки смеялись. Наконец, один из парней подошел к

Аркашке: "Чего читаешь? Что там нового?" И выхватив газету, прочел в "Известиях" заголовок газетного подвала: "Карл Радек. "Пляска среди мечей".

— О чем здесь?

— Прочти. Знать будешь.

— Зачем мне читать? Ты такой умный, расскажи.

Аркашка стал расплачиваться с официанткой.

— Вишь, какой важный. И говорить не хочет. Почему говорить не хочешь?

Аркашка упорно молчал. Встал. Надел пальто.

— Вишь ты, какой важный. Да смотри, он в шляпе. Без порток, а в шляпе".

Аркадий надел шляпу, серую, отцовскую, направился к выходу. Задиристый парень неожиданно на него замахнулся.

Аркаша сказал: "Только попробуй".

— А, только попробуй! — И двинул Аркадия кулаком по щеке. Аркашка бросился в драку. Двинул здоровенного парня в глаз, потом в нос. Тот выхватил нож.

Неожиданно между ними встал священник:

"Молодые люди, молодые люди! Зачем? Ведь сейчас вызовут милицию, начнется кутерьма. А Вы, Аркадий, идите, идите, Пойдемте вместе". И буквально вывел Аркадия из ресторана.

"... И по ровному полю широко разливается песнь ямщика", — раздавался вслед граммофонный тенор.

* * *

У Аркадия вздулась щека. Он вынул платок, намочил в луже, приложил к щеке.

Отец Константин сказал: "Ну, зачем так? Незачем. Зайдемте ко мне. Дам чистую воду". И пошли.

Дом 11 по 6-ой линии. В церковном дворе. Он жил в одной комнате. Кабинет и одновременно спальня. Шкафы, полные книг. Письменный стол.

Отец Константин налил в полоскательницу воду, из-под крана, холодную, дал чистый платок, сказал: "Мочите и прикладывайте. Через час все будет в порядке. Мы, бурсаки, хорошо знаем, как это делается. Бывали у нас битвы. Я понимаю: домой являться в таком виде не хочется".

Звонок. В комнату вошла девушка, сказала: "Батюшка! Я к Вам от мамы с письмом". Он пробежал письмо, сказал: "Хорошо!" И указал на парня: "Познакомьтесь: это дочь отца Николая со Смоленского кладбища. Таня Измайлова".

Аркадий: "Мы знакомы". Таня улыбнулась, спросила: "Аркашенька, что это ты с компрессом? Зубы?"

Аркадий: "Не зубы, а в зубы".

Таня: "Как так?"

Отец Константин: "Встретились мы с ним сегодня на Среднем, в трактире. Там он подрался с парнями. Я их разнимал. И вот, пригласил пострадавшего к себе".

Таня засмеялась: "Двадцать два несчастья".

Она была поразительно, необыкновенно красива. Карие глаза, черные густые ресницы, каштаново-

го цвета волосы. Но лицо подергивалось нервным тиком, но непрестанно она покусывала губы – и часто меняла места.

Дочь священника со Смоленского, отца Николая Измайлова, академика, ученого протоиерея. Брат его в дореволюционное время – знаменитый критик, известный своими резкими, острыми статьями, в которых доставалось писателям.

О нем острили: "Брат его отпевает покойников на Смоленском, а он – писателей в журналах".

Теперь дядя давно умер, а отца Николая, как и отца Константина, покинула жена.

Жену звали Елена Дмитриевна. Она была учительницей. И когда-то Аркадий учился у нее во втором и третьем классах. Училась у нее и ее дочка Таня.

Таня всегда была нервным, очень способным, на редкость красивым ребенком. Мать ее обожала, но была строга.

Прибегает девочка, говорит: "Мама, все говорят, что у меня ресницы длинные".

Мама: "Ну, что же делать, раз ты у меня такой урод". И девочка решила ресницы состричь.

Хорошо, что мама застала ее с ножницами в руках и успела отнять ножницы.

Отец Константин оглядел молодежь, сказал сурово: "Ну, разговаривайте между собой. Только тихо. Не мешайте мне. Я буду писать письмо Елене Димитриевне".

Он был посредником между Еленой Димитриевной и ее мужем, Таниным отцом. Отношения у

бывших супругов были сложные. У них было три дочери. И надо было их содержать. А у Елены Димитриевны был другой муж, инженер-строитель.

* * *

Таня спросила: "Как ты живешь? Мы же не виделись вечность!" "Ничего, – ответил Аркаша, – как тогда, в школе".

– Значит, по обыкновению, белая ворона. Помнишь, как тебя прозвала Оля?

– Кстати, а где она? И что она?

– Будто не знаешь.

– Не знаю.

– Но адрес ее ты знаешь? – лукаво сказала Таня, а Аркашка густо покраснел.

– Ну, а ты ее видишь?

– Часто.

– Ну, передай ей привет. Только не говори, что с битой мордой меня встретила.

– Это не в диковинку. Когда же бывало иначе? Ты же всегда и со всеми дрался. И ты бил, и тебя били. Так что она не удивится. Аркадик, ну что такое? Хочешь сегодня ее увидеть? Пойдем ко мне, и я ее вызову по телефону.

– Это с битой-то мордой?

– Пустяки! вы, мальчишки, всегда деретесь неизвестно зачем и почему. Идем. И мама будет рада. Она тебя часто вспоминает.

Между тем отец Константин закончил письмо, вынул из ящика деньги, вложил в конверт вместе с

письмом. Отдал Тане, сказал: "Для мамы".

Таня поблагодарила, сказала: "Отец Константин! А Аркашу я беру с собой. Мама давно хотела его видеть. Он же ее ученик. И мы с ним вместе учились".

Отец Константин: "Вот как!"

И проводил их в переднюю. На прощание сказал Аркадию: "А Вы с хулиганьем не связывайтесь. Они с ножами, а Вы с голыми руками".

– Да я не задираюсь, они сами лезут. Это из нашей школы, где мы с Таней учились.

– Как они Вас называют?

"Пан Пилсудский, – радостно воскликнула Таня. – Так его с первого класса вся школа звала".

Отец Константин улыбнулся и выпустил их на лестницу.

Таня жила вместе с матерью в мрачном месте, рядом с кладбищем, тоже в церковном доме. Каждые десять минут мимо них провозили покойников – отец Николай, после того, как жена с ним развелась, уехал из этого дома, оставив квартиру жене и детям. Девочки остались с мамой.

Но Таня часто бегала на кладбище. Там, на скамейке, около церкви, сидел целыми часами ее отец в епитрахили, с кадилом в руках, в ожидании панихид. А Таня сидела рядом и разговаривала с отцом. Она – единственная из дочерей. Другие к отцу не ходили. А когда отца приглашали служить панихиду, оставалась одна, задумчиво глядела перед собой.

С детства была мечтательницей.

Теперь, по дороге к Таниному дому, Аркадий сказал: "Я вижу, Оля дала тебе письмо".

Таня (лукаво):

– Какое?

– Какое, какое, золотое. Сама знаешь.

– Допустим.

– С ее стороны хамство. Я ее просил, чтоб было между нами.

– Аркадий! Милый! Но мы же старые товарищи. Не сердись! Да и только мне одной. Не каждый же день такие письма. Это трогательно. Ведь ты у нее с третьего класса. Помнишь, как ты заявил: "Оля Репина моя жена", – и мама скептически заметила: "Хорош муженек!"

И вдруг неожиданно:

– А я выхожу замуж!

– Когда?

– В этом месяце.

– Так тебе же еще не восемнадцати.

– По паспорту мне восемнадцать. Мне в метрике по недоразумению один год прибавили. И мама так же, как и на тебя тогда, качает головой и говорит моему суженому: "Хорош муженек".

– А что, тоже слишком молод?

– Молод, но не слишком. Он немного старше меня.

– На сколько?

– На тридцать два года.

– Танька, милая! Да ты рехнулась!

– Ну что же, я всегда была чокнутая. Это моя судьба!

Они подошли к дому. Елена Димитриевна открыла дверь. Лицо у нее расплылось в улыбке:

"Здравствуй, Аркадий. Какими судьбами?"

– Мама! Это пострадавший. Сейчас у отца Константина встретила. Он подрался и ему набили морду.

– Это на него похоже. Известный забияка. Заходите!

Елена Димитриевна, быстрая, веселая, говорливая, – один глаз косой.

В минуту ссоры отец Николай, несмотря на свою сдержанность и культурность, однажды сказал: "Косой черт!"

Учительница великолепная, ребята ее обожали.

Сейчас увела Аркадия на кухню, усадила, сама готовила чай, а между тем расспрашивала Аркадия о его делах. Покачивая головой, говорила: "Аркаша, уймитесь! Занимайтесь в техникуме и ничем больше". – Она подчеркнула: "Ничем больше! Вы знаете, я против всякой нивелировки. У Вас есть нечто Ваше, только Ваше – религия. Ну и держите ее при себе".

Здесь Таня вбежала в кухню: "Оля сейчас придет! А ты, Аркаша, пойди ко мне. Ну что тебе сидеть на кухне? Тем более ты такой важный: мама тебе даже "вы" теперь говорит. Мама, отпусти его ко мне".

– Ну, что ж, пожалуйста, бери молодого человека, хотя ты, кажется, к молодым равнодушна" вздохнула Елена Димитриевна.

Таня привела Аркадия к себе, погрустнела, помялась...

– Аркадий, ты помнишь, что я тебе говорила дорогой?

– Помню.

– Так вот, с Олей осторожно. Мой будущий муж – Алексей Павлович – ее отец.

Аркаша остался без слов. Отец Оли, бывший царский офицер, теперь крупный военный деятель Красной армии, ромбист* – все школьники, когда бывали у Оли, со страхом и благоговением на него смотрели, а он, хмурый, строгий, молчаливый, никогда с детворой не разговаривал.

А Таня тогда была кудрявой девочкой, с голубым бантом – и вот теперь она с ним, – его невеста, его жена.

– Таня, но как же, как это может быть?

– Как? А вот как! – и она, раскрыв томик Тютчева, начала читать:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел – спроси и сведай,

*Ромбы на петличках до введения погон (в 1942 году) – отличие генерала в Советской Армии. "Ромбистами" в быту называли офицеров в генеральском чине.

Что уцелело от нея?
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при нашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный смех и речи
И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!

– Это он Денисьевой. Она была моложе его на столько же, насколько я Алексея. И тоже подруга его дочери.

И вдруг у Тани на глазах слезы. И она откнулась в подушку и зарыдала.

– Таня! Милая! Ну чего ты? И при чем здесь это стихотворение? Та умирала. А ты всех нас переживешь. Ну, выходи за него, если уж так ты в него втюрилась.

Таня вскочила, вытерла слезы, напудрилась перед зеркалом, быстро прошлась по комнате, поцеловала Аркадия, сказала:

– Нет, я тоже скоро умру.

– Танька, идиотка, дура, что ты, с ума сошла?

– Нет, так и будет. Ничего, дочь кладбищен-

ского попа привыкла к смерти. Ведь покойники кругом, с детства.

В этот момент звонок в передней.

– Так, Аркаша, в разговорах с Олей учти. – И пошла отворять дверь.

* * *

Появлась Оля. Не видел ее Аркадий три года. Перемена поразительная. Она раньше была чахленькая, бледная, – и страдала тиком: часто, часто моргала.

И вот теперь здоровая, крепкая, красивая девушка. Девочки всегда развиваются раньше мальчиков.

Подала руку. Они бывшие одноклассники, но Аркадий потом перешел в другую школу. Давно не виделись. И лишь полгода назад Аркаша написал ей письмо. Ответ не получил.

Начался разговор. Но как-то все не клеилось. Все трое чувствовали себя неловко.

Уцепились за самое простое: за школьные воспоминания, за одноклассников. И все вздохнули с облегчением, когда Елена Димитриевна позвала пить чай с приготовленными ею чудесными блинчиками.

Потом собрались уходить. Аркадий пошел провожать Олю. Оля сказала: "Извини меня, Аркаша, что я тебе не ответила на письмо, но у меня сейчас так много хлопот".

– Ну да, ты сейчас на филологическом. Уже в

Университете. Ты ведь всегда была первой ученицей и сейчас нас всех опередила.

– Да, но от этого не легче, – вздохнула Оля.

– Семейные дела? – понимающе сказал Аркадий, и тут же осекся: он вспомнил, что Таня просила его не говорить с Олей на рискованные темы.

Но было уже поздно. Оля спросила: "А, так ты знаешь? У нас в доме полный сумбур. Мы с мамой и сестренкой перезжаем за город".

– А отец?

– Ты же знаешь?

– Как это вышло?

Но Оля переменила тему, стала расспрашивать Аркадия о его делах. Он проводил ее до дома. Простились. Он предложил встретиться. Она сказала: "Потом. Сейчас не до этого".

* * *

Через некоторое время Аркадий получил приглашение на свадьбу. Они венчались в Андреевском Соборе.

Венчал отец Константин. Народу не было. В церкви была Елена Димитриевна, отец Николай стоял в алтаре. Были сестры невесты, два шафера – двоюродные братья невесты, тоже поповичи. Аркаша читал апостола.

Со стороны жениха не было никого.

Он был в штатском, но военная выправка бросалась в глаза. Аркаша накануне от Тани узнал его биографию: отпрыск старинной дворянской семьи, окончил Пажеский корпус, товарищ Тухачевского.

служил в гвардии. Вместе с Тухачевским пошел на службу в Красную Армию. Опять воевал.

Сейчас крупный чин в штабе Ленинградского военного округа. Взглянул на него Аркадий и, кажется, что-то понял.

Влюбиться в него было можно. Он из тех, от которых девчонки без ума. Мужественная, строгая красота. Высокий рост. Шатен с сильной проседью, но это его не старит, скорее придает мужественность. В лице энергия и суровость. Перекрестился раза два. Небрежно.

После венчания пошли к отцу Константину. Сначала было неловко. Но Елена Димитриевна со своим тактом светской женщины сразу нашла нужный тон. Юмор. Вызвала Аркадия на разговор о его увлечении философией. Отец Николай – папаша невесты – этот разговор поддержал. Таня перебила разговор шутливым замечанием. Разговор стал общим.

Жених тоже оживился. Елена Димитриевна все в том же иронически-шутливом тоне сказала: "Ну, так надо кричать: "Горько!" Новобрачные поцеловались. Вскоре они уехали, Елена Димитриевна с двумя старшими дочерьми также. Когда остались только два священника и Аркадий, отец Николай сказал: "Это что же? Свадьба при живой жене?"

– Во избежание худшего. Что делать? – заметил отец Константин.

* * *

Вскоре вышла замуж и Оля. Об этом Аркадию очень деликатно, мягко сказала Таня.

– Но за кого же?

– За адьютанта Алексея Павловича – молодого красивого офицера.

– По любви?

– Кажется, нет. Надо устраиваться. Ты, Аркаша, не расстраивайся. Небольшая потеря. Замкнутая, скрытная, злая, – и в голосе у нее прозвучала ненависть. И тут же: "А я знаю, о чем ты сейчас думаешь".

– Что?

– Думаешь: ты добрая – семью разбила, у дочерей отца отняла. Так ведь? Да?

– Не говори ерунду, дуреха. Не в тебе же, девчонке, дело. В нем.

– Я тоже так Ольке сказала. А она вдруг, такая деликатная, воспитанная: "Сучка не захочет, кобель не вскочит".

– Ну, а как сейчас? Счастлива?

– Ой нет!

И она переменила разговор.

* * *

Вскоре она поехала в Лондон с мужем в свите Тухачевского на похороны английского короля Георга V.

Приехала оттуда элегантная. Одета, как дама с модной картинки. Красота ее стала умопомрачительной. Но с мужем жила плохо. Об этом однажды рас-

сказала Елена Димитриевна. И как это ни странно, ревновал не старый муж, а она, и кажется, не совсем без оснований.

На этой почве происходили сцены.

Однажды Елена Димитриевна, ночевавшая у них, услышала его раздраженную реплику:

"Ну да, я тебя не любил, и не люблю. Истеричка".

И все затихло.

А через несколько минут она вбежала к матери:

– Мама, спаси, – я отравилась.

Мать – женщина храбрая, энергичная – во время войны была сестрой – не растерялась, дала рвотное, уложила; к счастью, яд оказался слабым – приняла несколько таблеток кофеина. И уже когда Таня была вне всякой опасности, мать постучалась в кабинет зятя. Тот прибежал, стал целовать Таню в шею, в грудь, в лицо. После этого отношения между супругами, кажется, стали на некоторое время безоблачными.

Опять наступил медовый месяц.

* * *

А через некоторое время встретил Аркадий Олю. Она уже с ребенком. Университет бросила. Гуляла с колясочкой в Соловьевском саду (между Первой и Второй линиями, где памятник Румянцеву). Аркадий к ней подошел. Сел рядом на скамейку. Она говорила теперь Аркадию "Вы". Спросила:

"Там бываете?" Аркадий ответил: "Иногда захожу к Елене Димитриевне".

– А Вы знаете, Аркаша, я очень не люблю Таню. Но теперь, кажется, уже не имею на нее злобы. Скоро нас всех помирят.

– То есть, как?

– Так. Я видела вчера отца. Он предупредил, что надо ожидать самого худшего. Я не поверила. Тогда он вынул из письменного стола книгу – толстенную – справочник высшего командного состава. Открыл на странице "Ленинградский военный округ", сказал: "Вот видишь четыре страницы – стало быть, 200 фамилий. Я один только пока не арестован".

* * *

А через неделю Аркадий узнал: Таня и ее муж – оба застрелились. Перед этим Таня была у матери. Расцеловала. Сказала: "Мама, может быть, нас с мужем арестуют. Вот тебе деньги. Для тебя. И для отца. Аркадию передай привет. Он, правда, на редкость нелепый человек. Но человек! Пожалуй, единственный, кого я видела за последнее время!"

И в тот же вечер Елена Димитриевна узнала о смерти Тани и ее мужа. Дело было так. Была у них домработница Настя, женщина лет сорока, бывшая швея, которую Таня взяла по рекомендации матери. Однажды слышит она, пришел "генерал", – так называла она хозяина дома, хотя генеральских чинов тогда еще не было, но Настя – старорежимная женщина – называла его по-старому. Закрылись в ка-

бинете. Громкий разговор, потом все тише, тише. Подошла Настя к дверям, заглянула в замочную скважину. Сидят на диване, обнявшись, воркуют. Но почему-то их вид не понравился Насте – возбужденные, точно пьяные оба.

Вдруг вынимает генерал револьвер, показывает Татьяне. Та с любопытством ощупывает. На лице выражение муки.

Спрашивает муж: "Так как это пели в церкви: Исайя, ликуй. А дальше как?"

Таня, прижавшись головкой к плечу мужа, как хорошая ученица, отбарабанила: "Исайя, ликуй, Дева зача во чреве и роди Сына Эммануила, Бога же и Человека, яко Восток имя Ему, Его же величающе, Деву ублажаем".

Он повторил: "Деву ублажаем". – А что, Таня, ведь еще в Евангелии сказано: что делаешь, делай скорее, – так ведь, попова дочка?

– Так, – и нежно прильнула опять к его плечу.

– А жаловаться на меня там, на том свете, не будешь? Может, все-таки лучше тюрьма, лагерь, расстрел?

Таня отшатнулась: "Ой, нет, нет, нет! Давай скорее".

Он: "Да, так было договорено с самого начала. Предупредил тебя в первый день нашей любви. Помнишь?"

– Помню.

– И стихотворение Тютчева помнишь, которое читала?

– Тоже помню.

Не спеша, он зарядил пистолет. Встал. Таня перекрестилась. Он отошел на пять шагов. Вдруг промолвил: "Деву ублажаем" – и раздался выстрел. Дым. Настя заорала истошно. Он открыл дверь. Втащил Настю в комнату, скомандовал: "Молчать! А то убью. Молчи пока. Через две минуты кричи". Настя замолкла. Дым рассеялся. Она увидела Таню сидящую на диване все в той же позе, склонившуюся на спинку дивана, неподвижную. Как на картинке. Лицо было нетронуто. Только из горла, из сонной артерии капала кровь.

Алексей Павлович отошел к окну. Снял френч. Проверил капсулю. Произнес: "Деву ублажаем!"

И тут же пустил себе пулю в область сердца, и тяжело рухнул на ковер.

Настя схватила ключ. Отворила дверь. Крича истошным криком, пробежала всю квартиру, оставляя все двери раскрытыми настежь. Потом по лестнице. Во всех квартирах распахивались двери. Слышались вопросы: "Что, что такое?" А она на улицу и бегом к Елене Димитриевне.

Через час быстрым шагом поднимались по лестнице Елена Димитриевна и Настя. Дверь в квартиру была уже плотно заперта. На ней печать.

* * *

Их тела не были отданы родственникам. Отец Николай на Смоленском, приняв грех на душу, служил заочное отпевание по самоубийцам. Аркадий зашел к Елене Димитриевне перед отпеванием. Звал ее в церковь. Она покачала головой:

"Нет! После смерти Тани я простилась с Богом навсегда. Не пожалеть такую красоту".

Она сидела у окна. И бездумно смотрела на улицу. Аркадий простился. Она молча подала руку. Слез не было. В глазах безразличие и пустота.

Отец Николай служил истово и спокойно – но волосы стали совсем седыми. Восковое лицо. Слабые движения. Чувствовалось, что не жилец. Через полгода он, действительно, умер. Похоронили рядом с часовней Блаженной Ксении. И когда часовню закрыли, цветы, предназначавшиеся Блаженной, возлагали на его могилу.

Олю с мужем вскоре арестовали, сослали куда-то в Сибирь, в отдаленные лагеря. Алексей Павлович был посмертно объявлен "врагом народа". С этим новым титулом его имя появилось в газетах.

Когда исполнилось сорок дней со дня смерти Татьяны и ее мужа, Аркадий был опять на Смоленском. Вновь служили панихиду. А потом отправился в ресторанчик на Средний. Там все то же, что два года назад. Угрюмый старик с седой бородкой колол сахар, принесенный из дому, щипчиками. Официантка – полная, с пышной прической, разносила чай. Граммофон разносил по пустой чайной тенор: "Однозвучно звенит колокольчик, и дорога пылится слегка". Аркадий поздоровался с отцом Константином. Тот в ответ кивнул головой. Аркадий вышел из ресторана.

"... Заливается песнь ямщика", – раздавался вслед за ним граммофонный тенор.

14.VIII 1981 г. – Люцерн

ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ

(Автобиографический рассказ)

Это было в Институте Герцена. Чернявый парень, волосы вихрами, очки, лицо угреватое, в конце лекции протянул соседу листок, вырванный из тетрадки.

На листке ужасным почерком – с кляксами и помарками, были написаны два стихотворения.

Общее название, отчеркнутое на первой странице:

"Принцесса Турандот"

На дворцовую вышел площадку,
Сжал рукоятку меча,
"Дорогая, задай мне загадку,
Я ее разгадаю шутя.
Верь: я рожден не от кули,
Не в лохмотья я был пеленен.
Мое имя яснее лазури:
Сыном неба в веках наречен.
Я бежал из отцовского дома,
Расписных богдыханских палат,
Я отведал пьянящего рома,

Окунулся я в жгучий разврат,
И судьбе своей бросил перчатку,
Сгорая, стремясь и любя;
Дорогая! Задай мне загадку,
Я ее разгадаю шутя".

И конец

Вечер зимний. Выстрел дальний.
Шорох ближний. Тишь и мгла.
Все нежней и все печальней
Лик Пречистой из угла.
Ты сидишь одна, тоскуя,
Об ушедшем, одиноком,
О проезжем с Акатуя
Бледном парне чернооком.
По ночам ты не рыдай,
Не грусти и не томись,
И на картах не гадай,
Так надрывно не молись.
Он ушел из нашей жизни,
Растворился в тихой мгле
Без могилы и без тризны.
Он приснился в тихом сне.

Сосед вздохнул: "Это ты про Веньку и про Лизу. Да, весь их роман тут. Хотя стихи так себе. Но все так и было".

* * *

Ее звали Лизой. И пришла она точно из тургеневского романа. Сюда, в слякотный Ленинград. Осенью 1936-го. Темно. На трамвайной остановке скопилось много народа. Ждут 12-го, ехать на Васильевский. Голубоглазая. В осеннем пальто. Не по сезону. Уже выпал первый снег. Синий шарф. И он. Высокий, нескладный. Нос картошкой. И к ней: "Далеко едете?" Она (сухо, односложно): "На Васильевский". "Плохо трамваи ходят. Приходится долго ждать. А сама здешняя?" Молчание. "Студентка? Учитесь?" Молчание. "А я издалека. С Акатуя". Молчание.

"В университете?" Молчание. "А я Вас знаю". Изумление: "Откуда?" "Ведь Вы из Веребья. Из-под Вишеры". Молчание.

Подходит трамвай. Он, протискиваясь вслед за ней: "Помещичья дочка, – шепотком, – Лиза Бакунина". Она (изумленно): "Откуда..." И замолкла. Он: "Не бойтесь, я не оттуда. Но знаю. Машка Золотарева из Веребья – мне двоюро́дная". Сказал с ударением на третий слог. "У нее гостил прошлым летом. Так знаю".

На стрелке Васильевского, около маяков, они выходят. Он вслед за ней. Идут по набережной.

Спрашивает: "В университетское? На третью?" Молчание.

"Да не бойтесь. Не оттуда. Не из МГБ". Молчание.

"Чудна́я. Да ведь я тоже там живу. Мы же с одного факультета. С исторического". Она (первый раз, просто): "Нет, я филолог".

"Ах, филолог? Я Вас видел на лекции Ивана Ивановича Толстого. Ну да, античную литературу слушаем вместе".

Так дошли до третьей линии. На прощанье протянула руку. Сказала: "Ну, будем знакомы". Первый раз улыбнулась, и лицо вдруг стало детским. И он впервые заметил, что у нее вздернутый слегка нос и седая прядь в каштановых волосах. От этого лицо еще моложе.

Простились. Вздохнул. Стал подниматься на 2-ой этаж.

А в комнате кутерьма. Еще в корирдоре слышался мат. Возня. Звуки борьбы. Кого-то валили. Громкий мужской смех... Открыл дверь.

... Что, опять выпивали?" Ответ десятка голосов: "Митькин день рождения".

На столе, посредине комнаты, три поллитра. Под столом несколько опорожненных бутылок. На столе ветчина, чайная колбаса. Консервы – бычки по тарелкам. Царское угощение. Ситный.

Четверо парней за столом. Остальные на кроватях со стаканами. Стульев не хватает. На главном месте Митька Касьянов. Парень из-под Брянска. Белесый. С красными ушами. Надрали по примете. По случаю дня рождения.

Налили стакан: "Венька! Пей за здоровье новорожденного". Подошел к столу. Опрокинул стакан с сорокаградусной. Выпил залпом. Закусил ломтем колбасы. Сказали: "Дергани новорожденного, чтобы хорошо рос". Засмеялся. Дерганул рывком Митьку за ухо. Сразу оторвал мочку. Тонкой

струйкой – кровь. Тот сморщился и матюкнулся...

"Ты что нынче хмурый?" – "Задержался. Провожал". – "Это путем. Девку? Какую?"

Но Венька замолк. Пыхнул папиросой. Налил еще стакан. Оглядел комнату. Заметил Аркадия. Изумился: "А ты как сюда попал?"

Засмеялись. Митька (новорожденный): "Я привел. Мой гость. Единственный интеллигент. Буржуй в нашей пролетарской компании. Пусть изучает нравы".

Лысоватый паренек сказал: "Надо по-армейски: снять ему штаны и дать присягу – шестьдесят горячих ремнем. Сразу с пролетариатом соединится".

Гоготание. Аркадий, маленький, в очках, вспыхнул: "Это вы-то пролетарии? Это я пролетарий. А вы шантрапа". "Ого! – смотри, как разошелся".

Венька посерьезнел. Откусил огурец, сказал: "А что и вправду, он и есть пролетарий. Один кургузый пиджак, что на нем. Работает. Учится. И день и ночь штудирует.". Голоса: "Чего штудирует?"

"А все, что хотите: Кырлу Мырлу, и Канта, и Гегеля, и шут его знает еще что. И парень свой. Не продаст. Аркашка! Ну их на фуй! Пойдем-ка, расскажу кой чего. Только выпью еще разок. А ты не пей. Ведь ты враз охмелеешь и сразу в драку полезешь. Пошли!"

Пошли. "А ты знаешь, Аркашка, сегодня больше не хочется пить и мне, – знаешь, какую я встретил? Закачаешься!"

– Да кого?

– Кого?.. Когда-то Вас в деревне встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел...

Ну, хотя и не было нежности. Видел только издали. Но встретил в деревне. Пушкинская, Тургеневская. Не забудешь. И фамилия-то какая! По фамилии – анархистка. И одновременно аристократка".

"А! Бакунина! Лиза!"

"... твою мать! Ты откуда знаешь?"

"Как откуда? Знакомы с детства. И сегодня к ней шел. Не застал. Да вот по дороге встретил Митьку. И он зазвал меня на эти дурацкие именины. Ну, пошел. Он вообще парень хороший. И тебя думал встретить... А Лиза! Да я сам в нее в 16 лет был влюблен. Но она на меня ноль внимания, фунт презрения. Как-то написал ей письмо с признанием.

"Да ну! Ты-то! Ну, и она?" – Ничего. Встретила, улыбнулась, сказала: "Я думала, Вы умнее". И вернула письмо. С тех пор простые знакомые. Главным образом по той линии. – "Как по той? Она тоже?" "Тоже, но до некоторой степени. Она индивидуалистка".

"Смотри, не втяни ее, мать твою... жалко!"

"Жалко!"

"А прядь у нее седая отчего, не знаешь?"

"Знаю".

"Отчего же?"

Но Аркаша замолчал. Нахмурился. "После скажу". И не попрощавшись, пошел к выходу.

* * *

На другой день, в женском студенческом общежитии. Стук в дверь. Были три девушки. Одеты чисто. Скромные. Все уткнулись в книги. Одна из них пишет.

"Извините, Лиза Бакунина здесь живет?"

"Здесь. Но ее сейчас нет. Будет часов в семь. Да вы садитесь!"

"Спасибо. Некогда. Передайте". На стол ставится торт.

"Спасибо. А от кого? Как передать?"

"От земляка. Или почти земляка. Знакомого из Веребья. До свиданья".

Пришла Лиза.

Ей говорят: "А тебя ждет подарок. Какой-то парень принес. Черноглазый. Говорит – земляк, из деревни".

Тут Лиза вспомнила, что глаза парня еще на трамвайной остановке ее поразили. Совершенно черные, как редко у кого бывает. А сам блондин. Из-под кепки – белесая прядь.

На другой день появился на лекции в филологическом. Читал профессор Мокульский. Лекция была о Байроне. Говорил хорошо. Много цитировал. Но слушали рассеянно. Филологам Байрон в зубах навяз еще со школьной скамьи. По Пушкину и Лермонтову.

В середине вошел парень черноглазый. Сел. На ту же скамейку, где сидела Лиза. Верхом на край

скамьи. Вперился в нее глазами. Соседка Лизы шепнула: "Это тот, с тортом. На тебя уставился. Как неловок. Сразу видно, из хамов. Какой неотесанный".

Лиза промолчала. Стала вдруг усердно записывать. В перемену подошла, глянула прямо в глаза, сказала: "Спасибо за торт. Но мы с Вами еще не знакомы. Я не знаю вашего имени".

"Вениамин Лебедев".

"Что ж, будем знакомы. Извините, я спешу. Меня ждут." И ушла.

Венька вспыхнул. Кто-то взял его за плечо, спросил: "А ты что это к нам, историк? Байроном заинтересовался?"

Ничего не ответил. Вышел на набережную. Сел на трамвай. Через час подходил к заводу "Электроаппарат". В школе малограмотных. Вошел в канцелярию. "А, Вениамин Павлович, – это Вы к кому же? Вспомнили нас?"

Он здесь когда-то преподавал арифметику, подрабатывал, как все студенты.

"Скажите, Аркадий Михайлович сейчас на уроке?"

"Кончает. Сейчас придет".

Пришел.

"Аркаша! Голубок! Пойдем к нам в Университетское".

"Зачем?"

"К ней. С тобой. Ты старый знакомый. Мне одному неудобно".

"Да мне некогда. Я сегодня не собирался никуда идти".

"Брось. Успеешь. Что значит некогда, какого фуя? И здесь дело. Сам говорил, что она этим делом тоже занимается".

"Веня! Милый! Да что с тобой? Ты точно помешанный! Да ты от нее без памяти. Не ожидал".

"Чего не ожидал? Ведь я черноглазый. А черноглазые быстро. Раз-два, и готово!"

"В любви, как в злобе. Верь, Тамара..." Идем. ... твою мать, или дружба врозь".

"Ну, идем".

И пошли.

* * *

Она встретила дружелюбно. "Здравствуйте, Аркадий, очень рада. Я не знала, что вы знакомы с Вениамином".

"Что там знаком? Друзья. А сейчас вот о чем – Вы знаете, что из Москвы приехали вахтанговцы. Пришли звать Вас на "Турандот".

– "Турандот"? И Вы можете достать билет?

– Вот Венька может. Он все может. Парень всемогущий. И притом наш. Наш до конца. Лиза, Вы меня понимаете?

Она изменилась в лице. Побледнела. После паузы сказала: "Пожалуйста". И отворила дверь в комнату. Согрели чай. С ее подругами Аркадий был знаком. Люда Попова. Хорошая девочка из Ростова. Из интеллигентной семьи. Фаня Василевская. Еврейка. Дочь зубного врача. Маргарита Романова. Тоже из бывших. Пили чай. Говорили о театре. Венька молчал. Когда вышли на улицу, Аркадий сказал:

"Ну вот, начало положено. Завтра в лепешку разбейся, а билеты на "Турандот" достань. Можешь два. Мне не надо".

"Нет, нет, – три или четыре. Ну о чем я один с ней буду говорить?"

"А чего сегодня молчал, как проклятый?"

"Я ведь человек не светский, ваших вывертов не знаю. Это не то, что мы с тобой. Ну, в крайнем случае дашь мне опять по морде. Коли виноват, стерплю, коли нет – не взыщи. Получишь здоровую сдачу. А потом мир".

"Ну, не знаю, не такой хорошенький мир; ты мне тогда руку вывихнул".

"А ты не лезь к сибирякам драться!"

"А ты, троцкист, не называй евреев жидами!"

"Ну, это так. Хоть ты наполовину жид, а ведь все равно мне, как брат, и ближе брата. А с ней – не знаю. Мне же она не сестра!"

"Да говори, как со всеми. Только без мата. Можешь ты без мата?"

"Ну, это как-нибудь".

* * *

Венька напомнил Аркадию эпизод из их знакомства, который произошел за год перед тем. Зашел Аркадий к одному из университетских парней, к этому самому Митьке, с которым был связан нелегальщиной.

В комнате было четверо. Митька, Аркадий, Венька, и еще один студент – еврей, которого Вень-

ка называл "наш Абрамчик", хотя был он вовсе не "Абрамчик", а Володя Шальман из Витебска.

Аркадий сидел в углу с Митей и говорил о деле. А Венька, немного подвыпивши, в другом углу вел с "Абрамчиком" разговор примерно в таком роде: "Эх ты, Абрамчик, хочешь расскажу тебе анекдот?" – И далее следовал похабный анекдот о евреях.

"Абрамчик" (робкий, стеснительный еврейский мальчик) ежился, краснел, – говорил, что ему надо заниматься, а этот свое – видно, нашел на него такой дурацкий стих.

Наконец, после какой-то особенно оскорбительной фразы Вениамина о жидах, Аркадий шагнул к нему. В этот момент он вдруг ощутил один из тех приступов бешенства, которые иной раз овладевали этим обычно смирным религиозным молодым человеком, погруженным в то время в чтение философских книг.

"А ну, оставь его!" – заорал он бешено, подступая к Вениамину. Венька уставился на Аркадия.

"А твое какое собачье дело?" – сказал затем.

"А вот какое", – и вдруг со всего размаху хлопнул Веньку кулаком в зубы.

Тот сначала остолбенел от неожиданности. Затем схватил Аркашу за руку, вертанул ее так, что тот невольно охнул, и рука повисла бессильно, как у парализованного, а потом Аркадию кулаком под дых, так что тот пошатнулся, испытав острую боль.

Митя схватил Веньку за руки: "Ты что, убить его хочешь, что ли?"

"А пусть не лезет, куда не спрашивают!"

Аркадий сделал несколько шагов, но боль была такая, что идти было трудно. И он молча лег к Веньке на кровать.

А Венька оторвал клочок газеты, прилепил вместо пластыря к нижней губе, из которой текла кровь.

Володя Шальман ушел, взяв портфель. Венька тоже, хлопнув дверью.

Митя заговорил примиряюще: "Ну, зачем так? Он же парень хороший, и тебя очень любит, и к Володьке неплохо относится. Но уж такой характер. Под горячую руку не попадайся. Сибиряк".

"Еще что. Болван. Хам. Ноги моей у него не будет. Плевать я на него хотел".

Через десять минут появился Вениамин с бутылкой в руках. Откупорил белоголовку, отпил из горлышка, протянул Аркадию: "Ну, пей. Мир. Защитник угнетенных невинностей. Дон Кихот".

Аркадий молчал.

"Пей, говорю. Сейчас как рукой снимет". И сунул бутылку Аркадию. Тот привстал, ощущая все такую же боль, взял левой рукой бутылку, отпил, – вправду стало легче. Вениамин дал бутылку Митьке: "И ты пей. Как это Аркаша говорил, у кого такая пьеса: "Праздник мира"? – "У Гауптмана", – сказал Аркадий.

"Ну вот, и у нас праздник мира. Митя, оставь ему. Пусть выпьет до дна".

И к Митьке: "А ты чего хватаешь меня за руки, – думаешь, я его действительно убивать собрался?"

"Ну, как сказать. Вижу, что ты нацелился ему вдругорядь под ложечку дать. А от двух таких ударов можно и окочуриться".

"Ну, может быть и не окочурился бы, кто его знает, – сказал Венька, – парень здоровый. Всякое бывает". И при этих словах все трое (в том числе и Аркаша) невольно расхохотались. И мир был заключен.

Сходили в пивную. Еще выпили. И перешли к очередным делам.

Но Аркадию пришлось все-таки сходить в амбулаторию, взять бюллетень. Рука оказалась вывихнутой: ни писать и ничего делать ею не мог. Доктору, молодой девушке, сочинил версию, что упал, поскользнувшись.

Та недоверчиво покачала головой: "Где же это в мае можно так поскользнуться?" Но все-таки дала бюллетень и велела ставить согревающий компресс. В бюллетене написала: "Вывих при падении".

На другой день были билеты. Пошли вчетвером. Венька с Аркадием, Лиза и еще одна девушка. Из Герценовского. Даша.

После спектакля проводили девушек. Лиза сказала: "Завтра я к себе в Петергоф".

* * *

Венька после спросил: "А разве она в Петергофе живет?"

– Да, у нее там домик. Но никого к себе не зо-

вет. Все время здесь. В общежитии. Ну, а как понравилась тебе "Турандот"?

– Очень. Ты знаешь, что Турандот – Россия, революция. А мы ее любовники. Всем она задает загадки. И никак их не разгадать. Всех она нас погубит. Вот Лиза нет. Эта себе на уме. Она не даст себя погубить Турандот.

Аркадий расчувствовался. Парень он был самоуверенный, фанатичный, но болтливый и быстро привязывавшийся к людям. Схватив Веньку за руку, сказал: "Венька, скажу тебе про нее все; только поклянись, что ничего, никому, никогда!"

"Что за патетика, мать твою... Какого фуя! Ты что меня так не знаешь?"

– Так вот, все письма в Мексику старику и от старика идут через нее.

Венька остановился, как вкопанный.

– Врешь. Как это может быть? Откуда у нее такие связи?

– Да ведь у нее мания. Хочет быть актрисой. И имеет знакомство со знаменитостью. А у него вечно из финляндского консульства один человек. Через него все идет.

Венька остолбенел.

– При всем, при том старика она ненавидит. Но грузина еще больше. И вообще Кремль.

– За имение под Веребьем?

– Какое там Веребье? Не то. Видал у нее седой клок? Это у нее с десяти лет, когда в Киеве ее бабку княгиню Хованскую (75-летнюю старуху) в Днепр на ее глазах топить волокли*.

* Факт подлинный

— А как она уцелела?

— А ее спрятала какая-то хохлушка. А потом с матерью в Веребье поехали. Там крестьяне, их бывшие вассалы, помогали.

— Вот это да! Я сразу заметил в ней что-то, чего ни у кого не видел. Я ведь баб да девок видел столько, сколько ты, Аркашка, звезд на небе не видел. Я ведь с шестнадцати лет по этому делу горазд был. А ее, как увидел, вот это да! Точно с другой планеты.

— Так все между нами?

— Чудак! Если бы я был болтлив, давно бы нас обоих на свете не было.

— Знаю.

И они простились.

* * *

Венька любил "старика", хотя, конечно, никогда не видел. Парень он был, несмотря на внешнюю грубость, мягкий и сентиментальный. А у них в семье, в Акатуе, в Сибири, был культ человека, которого называли стариком. Хотя стариком он не был. Когда Венькин отец находился при нем в качестве шофера, тому было 40 лет. И хотя мелькали в шевелюре седые волосы, был он крепкий, быстрый, весь точно на пружинах. Только близорукость, вечно спадавшее пенсне, да бородка напоминали его происхождение, делали его похожим иногда на раввина. Да еще с одним словом была у него беда. Почему-то в речах, разгорячившись, обязательно говорил он: "В целя́х". И сам над собой подтрунивал.

Когда после речи садился в автомобиль, всегда рядом с шофером, усмехнется и скажет: "Что ты будешь делать, опять в целях!" А шофер, сибиряк, Венькин отец, смотрит влюбленными глазами и говорит: "Вы и "в целях" – наш. Наш. Сибиряки Вас любят".

Когда уезжал Лев Давидович, пришел к нему Венькин отец проститься. Плакал. Тот, всегда генеральски неприступный, тоже расчувствовался, поцеловался с Павлом Васильевичем.

Потом уехал шофер к себе в Сибирь, на станцию Акатуй. Там был машинистом. Его не трогали. Думал, что забыли. Но не забыли. В 1934-м, после убийства Кирова, забрали. И как в воду канул. И Веньку тягали. Но потом отстали. А Венька между тем окончил школу. Поступил в Университет. В Ленинграде. Пока держался. И был по семейной традиции связан с оппозиционной молодежью. И больше всего почему-то привязался к Аркадию. Когда-то работали они вместе на Электроаппарате, в школе малограмотных. И как это ни странно, сразу нашли общий язык. Аркаша был из интеллигентов. Но изгой. Со своими никогда не ладил. Те его считали кем-то вроде юродивого. И всегда его тянуло к простым рабочим парням. С Венькой как-то шли после уроков вместе. И разговорились о Троцком. Веньку заинтересовало, что Аркадий знал его произведения почти наизусть и с пренебрежением отзывался об официальных установках, по которым Троцкий был чуть ли не "шпионом".

Подружились. И вот, пришли на "Турандот".

* * *

Лиза Бакунина после "Турандот" была тоже взволнована. Она поступила в Университет только сейчас, когда был отменен социальный отбор для студентов. Была на филологическом. Но любила театр. Любила больше всего на свете. И были у нее знакомства. Самым близким знакомым был популярнейший ленинградский артист – опереточник. Лубенцов. Весь Ленинград его знал. Маленький, толстенький. Играл он в оперетте "Желтая кофта". Весь Ленинград пересмотрел его в этой роли. Старше Лизы, так сказать, на немного: на 35 лет. Добродушный. Говорил с ней откровенно.

"Конечно, я могу Вас устроить в театр. Для меня это не проблема. Тем более – талант у Вас есть. Но скажите, зачем я это буду делать? Вы мне не дочь, не сестра, не любовница".

"Ну, что же я могу сделать, Исаак Борисович, не могу же я стать Вашей дочерью". "Дочерью нет. Да и любовницей не настаиваю. А пока давайте дружить. Приходите ко мне".

И она к нему пришла. Он встретил ее в белом халате, в колпачке, маленький, приземистый, он напоминал повара.

Лизу встретил словами: "Ну вот, и пирожечки готовы, пирожечки". (Так он произносил с ударением на "же").

Оказывается, он на кухне в ожидании Лизы готовил самолично "пирожечки".

Она расхохоталась. Все ее сомнения исчезли. Уж очень не похож он был на любовника. Но знакомство продолжалось.

Этой милой девушке, всего боящейся, затравленной, травмированной с детства, было хорошо около добродушного старика, веселого, остроумного, с мягким юмором. Он ей чем-то напоминал то ли старую тетушку, то ли мистера Пиквика. Но старик был хоть и "Пиквик", но себе на уме. В 36-ом он ей предложил: "Летом, после окончания сезона, мы с Вами едем по Волге. А по возвращении Вы будете приняты в Александринку. (Пока в филиал). Арт. подготовка (скаламбурил он) уже проведена. Теперь все зависит только от Вас". Она подумала, сказала: "Ну, что ж!"

Он принял это как знак согласия. Поцеловал ей руку и задержал ее в своей руке, сказал:

"Ах, хороша у Вас ручка, чудесная, маленькая, нежная, но энергичная. Это не ручка фифочки. Такой рукой можно горы своротить. Бакунинская ручка!" И еще раз нежно приник к ее руке.

Она сказала: "Довольно, Исаак Борисович, мы же пока еще не на Волге". И отняла руку.

Между тем Венька захаживал теперь к Лизе уже без Аркадия. И никогда ничего Аркадию про нее больше не говорил. И лишь однажды вечером, перед Новым Годом, когда они переговорили о деле и простились – Вениамин сказал: "Постой, кое-что тебе покажу", – и вынул из кармана ключ. "Что это, а?"

"Ключ какой-то", – равнодушно сказал Аркадий.

"Ключ от Петергофской квартиры".

"А", – понимающе ответил Аркадий.

У Аркадия было смутно на душе. После показанного ему ключа от Лизиной квартиры сомнений как будто быть не могло, и все-таки сомнение было. А вдруг Венька похвастался – ключ никакого отношения к дому Лизы не имеет. А вдруг она ему случайно дала ключ, чтобы встретиться с ним по конспиративному делу.

Надо сказать, что хотя Аркадий решительно никаких надежд на взаимность Лизы не имел, но в душе все-таки не был к ней равнодушен.

И очень уж не хотелось думать, что она, тургеневская девушка, тонкая, воспитанная, отпрыск старинного дворянского рода (по материнской линии – Хованская) так глупо связалась с сибиряком, – грубияном, драчуном и матерщинником, хотя и с хорошим парнем.

И Аркадий уверил себя, что все это не так: Венька просто вульгарный хвастун. Люди охотно верят тому, чему хочется верить.

Через некоторое время, однако, произошел случай, после которого все сомнения исчезли. Были каникулы, все разъехались. А Аркадию надо было передать Лизе письмо.

Письмо туда... в Мексику. И Аркаша стал разыскивать адрес Лизы. В канцелярии факультета ему дали адрес. И в один прекрасный день он отправился в Петергоф. Она жила на главной улице недалеко от Собора, пока еще не закрытого. Он подошел к дому. Спросил ее квартиру. Она жила на втором

этаже. Взобрался по деревянной лестнице. Чистая, аккуратно обитая войлоком дверь. На дверях фамилия покойной Лизиной матери: "Ирина Федоровна Бакунина". Звонок.

Аркадий постоял минуту. Ощупал во внутреннем кармане пиджака письмо. Позвонил еще раз. Не отворяют. Он в третий раз. Собрался уходить – видимо, нет дома. Как вдруг с той стороны двери послышались шаги, в дверях повернулся ключ, звяканье откидываемой цепочки. Дверь открылас. И... Аркадий остался без слов: на пороге стоял в одном белье – в синих подштанниках и в белой фланелевой рубахе Венька. Оба приятеля остолбенели. Остались в первый момент без слов. Первый пришел в себя Вениамин. Криво усмехнувшись, он спросил: "Чего тебе?"

Аркадий вынул из внутреннего кармана письмо. Сказал: "Вот письмо Елизавете Александровне".

"Давай", – хмуро сказал Вениамин.

Аркадий отдал письмо.

Дверь захлопнулась. После этого в течение месяца друзья не виделись.

Венька первый зашел к Аркадию. Заговорили как ни в чем не бывало. На щекотливую тему между ними разговоров в этот раз не было.

Раз как-то зашел Аркадий и к Лизе. Застал дома. Он не видел ее месяц. И был удивлен. Он ее почти не узнал. Она стала какая-то вся другая. Лицо уже не детское. Ничего детского. Она была в белой кофточке, в какой Аркадий никогда ее не видел.

Приняли любезно. Угостили девушки его снова чаем. Разливала чай Лиза. И было что-то хозяйское, уверенное в ее движениях, в том, как она сидела во главе стола, как брала чайник, как резала хлеб.

Аркадий сказал что-то о Вене. Она не ответила ни единым словом. Потом, когда он вышел в коридор, она пошла его проводить. Он спросил: "Лиза, Вы можете снова передать?" Она ответила: "Я уже передала".

Через два дня он зашел к Вениамину. "Ну что, как Лиза, дала тебе ответ от финнов?" И Веня изменился. Слушал рассеянно. – "Да, да. Передала. А что?"

– Да ничего особенного". И хлопнув Аркадия по плечу, сказал:

"Аркашка, а что ты такой малохольный? А?
- Ну что значит малохольный? Я о деле.

Венька вдруг подобрался. Вскочил быстрым движением. Взял бритву. Намыливши щеки, спросил: "А скажи, Аркашка, почему Ленин женился на дворянке, а?"

"Это уж старо. Чтоб не проливать пролетарскую кровь".

"То-то. И я не хочу проливать пролетарскую кровь", – и отбросив кисточку, стал душить Аркашку в объятиях.

"А я ведь первый, первый, первый!"

"Но не последний", – неожиданно зло сказал Аркадий.

"А может и последний", – нахмурившись и внезапно став серьезным, сказал Вениамин. Замолк и стал продолжать бритье.

Аркадий спросил: "А ведь Седова, жена Троцкого, тоже из дворянок? И у Кырлы Мырлы – графиня фон Вестфален!"

Но Венька не продолжил эту тему. Закончил бритье. Надел пиджак. И сказал: "Ну, мне пора". Вышли вместе.

Аркадий спросил: "В Петергоф?"

Вениамин ничего не ответил.

* * *

Другой раз он видел их вместе. На Балтийском вокзале. Было 11 часов вечера. Они ходили по перрону. И, казалось, никого не замечали. Она под руку с ним. Полулежа на его руке. Аркадий взглянул в ее лицо и не узнал. Она, всегда такая серьезная, сдержанная, молчаливая, – теперь щебетала что-то, и вся раскраснелась, и вдруг, расшутившись, схватила его за нос. А он, наклонившись, поцеловал ее в губы. Долгим, долгим, и жарким поцелуем. И она, аристократка, ничего не сказала и даже не смутилась, хотя кто-то рядом сказал: "Ого!" И еще нежнее прижалась к нему.

Аркадия они не заметили. "Да, это первый, – подумал он, – первый мужчина в ее жизни".

– Это еще не последний поезд? – послышался чей-то голос рядом.

– Да, конечно, не последний, – подумал Аркадий, – хотя такой вряд ли будет. Настоящий мужик.

Однажды он застал Вениамина печальным.

Взглянув на него, Аркадий сказал: "Поссорились!" "Было дело!" – За что, коли не секрет?" – За дело. "Сечь тебя надо. Так тебя девушка любит, а ты еще кочевряжишься".

Вениамин снял с себя ремень, протянул Аркадию: "Бери и пори", – и повернулся к Аркадию.

Аркадий шутя хлестнул его пряжкой пониже спины: "Не обижай девушку".

"Ее обидишь. Сама всякого обидит", – сказал Вениамин, беря и затягивая ремень. "Подлая и шальная".

Потом прошелся по комнате, взял Аркадия за плечо, сказал: "Сейчас при деньгах. Зайдем в погребок, выпьем, браток. Мутно на душе".

Но выпив, развеселился: "А, так его мать, хоть час, да мой! Хороша, ох, хороша. Как это по Блоку, в 10-ом классе учили?" (Тогда еще в 10-ом классе был Блок).

"Ох, товарищи родные, эту девку я любил.
Ночи черные, хмельные с этой девкой
проводил".

Ты прав: лупить меня надо – такую девку не ценю, такую девку матерю. А сегодня по роже ей отвесил".

"С ума сошел, – сказал Аркадий. – Да за что?"

– А за то, что не до конца. Пей, Аркашка, до конца, мать твою... – вдруг заорал он, увидя, что Аркадий оставил вино в бокале. – Пей, не оставляй мне зло!

Аркашка допил до дна. Положил руку Веньке

на плечо. Ему вдруг стало страшно жалко Веню.

Вениамин посмотрел в упор, и Аркадий увидел, что глаза у него полны слез.

"Ты выпил до конца. Ты мне друг до конца. А она не до конца. Запасный выход ищет... ее мать, к старику трухлявому тянется".

И вдруг, подозвав официантку, быстро рассчитался. Дернул Аркадия за руку, сказал: "Пошли".

На улице Венька замолк. И лишь подойдя к общежитию, сказал: "Не думай, бабой не стал. Врагу не сдается наш гордый "Варяг", пощады никто не желает". И неожиданно положил руки на плечи Аркадию, поцеловал его и пошел в общежитие.

"Чего это он вдруг тебя целует? Уезжает куда? Что ли?" – спросил студент, товарищ Веньки по общежитию.

"По пьяной лавочке", – ответил Аркадий.

"Да хоть и по пьяной, но видно парня допекло. Невеселый он что-то нынче", – сказал тот и стал подниматься по лестнице.

* * *

А весной, в мае 1937-го, Вениамин, пряча глаза, сказал: "Просила тебя приехать в Петергоф. Только обязательно. Сегодня в 5".

– А не ревнуешь?

Вениамин усмехнулся.

– Что? Есть к кому? Так, что ли? – Ну, ладно. Хватит вздор. Говорят тебе, приезжай. Дело есть."

Аркадий был в Петергофе точно в назначенный срок.

Квартирка (однокомнатная) в двухэтажном доме. На окне белая занавеска. Простая мебель. В углу икона, Божия Матерь. Итальянского письма. Взгляд у Богородицы проникновенный и печальный. Перед иконой лампадка.

Лиза открыла дверь. Усадила. Начали разговор.

"Аркаша, спасибо, что пришли. Я и так знала, что исполните мою просьбу. Но я хочу злоупотребить Вашей дружбой. Вы знаете, я Вам говорила, что Лубенцов меня приглашал уже давно ехать с ним по Волге.

И вот, завтра должен быть отъезд.

Но я ехать не могу. Прошу Вас, прошу Вас, Аркадий, пойдите к нему, передайте письмо. И скажите, что я ехать не могу. Мягко, деликатно, как Вы умеете, чтоб не обидеть старика".

Аркадий взял письмо. Оглянул комнату. Спросил: "Давно Вы здесь?"

– Это мама купила уже давно, когда мы приехали из Киева. У нас еще оставались тогда золотые вещи. Продали и купили. А икона бабушкина. Из ее имения... "Утоли моя печали".

– Какой бабушки, княгини?

– Да, княгини Хованской. Так, пожалуйста, Аркадий, не откажите.

– А что, помните, Лиза, у Достоевского, Ваша тезка, тоже Лиза, говорит Алеше Карамазову: "Так и сорок Вам будет, и Вы все будете записки носить".

Она усмехнулась ласково, протянула руку: "Ну, Вам же не сорок, а всего лишь двадцать два.

И потом Вы ведь друг и мой и Венин. Я знаю, Вы любите Веню. Я знаю, это глупо и нахально с моей стороны. Но что я могу сделать. Мы, Бакунины, всегда были очень импульсивны". "Начиная с Вашего знаменитого предка", – сказал он, и поцеловав руку, действительно чудесную, бакунинскую, – вышел из дому. Поручение было выполнено.

* * *

Лубенцов был вежлив. Сказал: "Садитесь, молодой человек". Потом надел очки, прочел письмо, спросил: "Елизавета Александровна Вас просила что-нибудь передать на словах?"

"Она просила сказать, что очень привязана к Вам, но ехать не может. Просила не огорчаться".

Помедлив, Лубенцов сказал: "Вы ведь не тот..." – и остановился.

"Да, не тот. Совсем не тот".

"Да, тот черноглазый. Она говорила. Ну, что ж. Билеты я уже вернул в кассу. Я знал, что она не поедет. Скажите, что не сержусь. И прибавьте по-пионерски: Всегда готов!

"Есть: все будет передано!"

Все и было передано.

* * *

Рассказал обо всем и Веньке. Тот усмехнулся. "Я знал. Для того тебя и позвала. Баба. Да актриса, что с нее возьмешь. В театрах есть запасный выход

на случай пожара. Знаешь! Вот и она нашла себе запасный выход. Сладострастный старикашка для нее выход. Не ошиблась. Самое время искать". И он показал Аркадию письмо. Четко, крупным почерком было написано на тонкой бумаге (без обращения и без предисловий):

"Знаю, что трудно. Держитесь. Всегда с Вами. Старик".

Письмо из Мексики. Последнее письмо. Дал прочитать. Потом вынул спичку. Сжег в пепельнице. Сказал: "Видимо, что-то проведали. Ребят тягают. Спрашивают обо мне. Сегодня взял документы из Университета. Еду в Акатуй".

– Зачем в Акатуй? Это безумие. Там тебя все знают.

– А так. Помирать, так помирать. Я ведь здесь проездом. Там у себя. Да не бойся, никого не выдам.

– Так ведь будут пытать!

– Ни фуя, выдержу. Я двужильный.

Он скинул пиджак, снял рубашку, повернулся, сказал: "Гляди!" Вся спина была в ожогах – красные пятна, тоненькая кожа, гусиная.

"Это меня, когда батю взяли в МГБ, огнем жгли. Хотели, чтоб на батю показания дал. Ни фуя не добились. Как несовершеннолетнего отпустили".

"С дороги напишу, знаю, ты не струсишь. А Лизу в случае чего старик спасет. У него связи. Запасный выход".

Он уехал. Через два дня в университетском общежитии был обыск. Перевернули все вещи вениа-

миновых соседей по комнате. Вызывали всех. Допрашивали с пристрастием. А о Вене ничего не было слышно. Провалился под землю. Где он? Что с ним? Никто ничего не знал. Ни в Ленинграде, ни в Акатуе. Туда он не доехал. Видимо, взяли дорогой.

* * *

Аркадий заезжал вечерами к Лизе в Петергоф.

Сидели в полутьме. При зажженной лампадке. Разговаривали. Она была внешне спокойна. Но лицо осунулось. Как после болезни. Глаза красные. Видимо, от слез.

В конце августа сказала: "Аркаша! Простите! Но мы больше не увидимся. Завтра я еду с Лубенцовым".

– Опять во Волге?

"Нет, на этот раз в Крым. А потом я переезжаю на другую квартиру. Петергофскую я продала. Прощайте, не судите строго. Молитесь за меня!"

* * *

Через год ее имя появилось на афишах. В театральных рецензиях. Она быстро шла в гору. Ее знали уже не только театралы. И широкая публика. Как-то Аркадий был в Александринке. На "Бесприданнице". Она играла Ларису.

Шел 1941-ый год. И все говорили о том, что скоро будет война.

Аркадий пошел за кулисы, к ней, в артистичес-

кую уборную. Она молча протянула руку. И тут же заговорила с парикмахером, который примерял ей парик. Потом с гримером. Аркадия явно не хотели заметить. Между тем время шло. Послышалось в рупор: "Бакуниной приготовиться на выход". С ласковой улыбкой, но все так же молча она протянула Аркадию руку. Он шепнул: "Турандот помните?" Кивнула головой.

"А Веню? Черноглазого?"

"Тоже помню". И что-то дрогнуло у нее в лице.

И пошла на выход... Так встретились эти два человека в последний раз.

И прошло с тех пор 45 лет. Целая вечность.

Чернявый парень из Института Герцена разбирал свои бумаги. Но теперь уже не чернявый – седой. И не парень – старик. И не в Институте Герцена. В Швейцарии. И попались ему среди старых бумаг мальчишеские стихи, написанные почти полвека назад. Под общим названием: "Принцесса Турандот".

И все, как живое – довоенный Ленинград, и Лиза Бакунина, и черноглазый друг.

И он написал этот рассказ, в котором все правда, кроме собственных имен, в том числе имени народной артистки РСФСР, недавно умершей, и имени ее покровителя, давно уже покойного известного ленинградского артиста.

Имя подлинное только одно – того, кого убили через несколько лет после описываемых событий в далекой Мексике. И который действительно переписывался с нами через финляндское консульство.

Люцерн
24-26 июля 1981 г.

* * *

... Итак, мы с вами очень подробно рассмотрели одно из интереснейших явлений советской жизни 20-х годов, политическое течение, именуемое "троцкизмом".

Как известно, сами троцкисты себя такими не считали: они утверждали, что являются большевиками-ленинцами.

Правы ли они были? Рассматривая это течение объективно, мы должны ответить на этот вопрос отрицательно. Оно имело множество специфических черт, о которых и не думали большевики во времена Ленина. Это относится прежде всего к личности самого Троцкого. Человек этот был совершенно уникального таланта, во много раз превосходивший в этом отношении Ленина. Выходец из провинциальной еврейской семьи, исключенный из пятого класса гимназии, гениальный самоучка, он блестяще владел шестью языками, говорил на них длинные двухчасовые речи, писал на них статьи и даже целые книги.

Блестящий оратор, умевший буквально гипнотизировать аудиторию, он также владел пером. Крупный политический мыслитель, блестящий литературный критик, театральный рецензент. В короткое время, во время гражданской войны, он овладел искусством полководца.

Его стратегические способности признавали его противники. Известен отзыв о нем генерала Деникина: "Жидовская морда. Когда мы возьмем Москву, я его расстреляю на Красной площади, но прежде произведу в генералы"*.

Конечно, этот блестящий человек, хотя и отравленный с юности атеистическим ядом, не мог уложиться в прокрустово ложе так называемой марксистско-ленинской доктрины. Сейчас, через 250 лет, анализируя его взгляды, мы можем определить, что именно было в них глубоко ошибочным и в чем на его стороне была историческая правота. Ошибочность его взглядов мы уже достаточно выявили во время настоящей и предыдущей лекций. Отметим теперь позитивные моменты.

1) Троцкий был, конечно, прав, когда утверждал, что Октябрьская революция захлебнулась еще в 20-е годы, обманула возлагавшиеся на нее надежды, окончилась термидором и бонапартизмом. Говоря попросту – разложением и тиранией.

2) Конечно, был прав, когда говорил о том, что настоящая революция должна быть перманентной, непрерывной. История не может стоять на месте: она идет или вперед, или назад.

И, конечно, он был прав, когда говорил о том, что революция перманентная во времени, должна быть перманентной в пространстве, когда он протестовал против национальной замкнутости и лжепатриотизма.

И наконец, последнее и самое главное. Он был прав, когда говорил, что молодежь является баро-

метром революции. Когда делал установку на молодежь. Уже следующие десятилетия после Сталина это полностью оправдали. Мы видим с одной стороны одряхление физическое и моральное руководства, состоящего из ограниченных, консервативных стариков, а с другой стороны – боевую, энергичную молодежь, которая все мужает, и которая в конечном итоге в начале XXI века свергла отжившую и переродившуюся власть.

Рабочий парень, попирающий Кремль, памятник которому высится на Стрелке Васильевского Острова – вот подлинное воплощение русской революции, и таким образом положение Троцкого о том, что молодежь является барометром и движущей силой революции, оправдалось.

И на этом мы можем закончить нашу лекцию о Троцком и о троцкизме. Рассказ Левушина "Принцесса Турандот" показывает благородных, но ограниченных юношей, шедших за самым ярким и самым романтичным из вождей революции 1917 года.

Увы! Их участь та же, что участь их вождя и участь всех романтиков в ту эпоху.

Как жаль, что никто не стал на колени
И не сказал, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги только ступени
К небытию и ко тьме.

Так пел за 20 лет до описываемых событий кафе-шантанный поэт и певец Александр Вертинский. Ошибся он только в одном: все другие страны оказались еще более, много более бездарными.

Аркадий Левушин

ЗАВТРА

Было такое в старину выражение: "Ходить по верам". Его применяли обычно к сектантам, к богоискателям.

И я ходил по верам. Правда, больше по политическим верам. По религиозным верам мне ходить было ни к чему. В детстве познал я Христа-Жизнодавца. Иисуса сладчайшего и прелюбезного. Все эти эпитеты, применяемые в православной церкви к Христу, были для меня не цветистыми метафорами, а живейшей реальностью. Он Жизнодавец, ибо без Него нет жизни и света – лишь темная бездна. Он – Сладчайший, тбо без Него лишь горечь надежд, неисполнившихся порывов бесплодных, честолюбия необузданного, страстей смердящих.

Он – Прелюбезный, Возлюбленный, – Друг, Товарищ, Господь, Человек совершенный и Бог непреложный. Церковь русская, православная поведала во младенчестве пишущему эти строки о Христе. Благодарность ей за это и земной поклон. Но никакого нет сравнения между ней и той Цер-

ковью, которая явится в последние дни. Апокалиптической Церковью.

Невестой Агнца.

Слишком много в ней земного, плесневелого, нечистого, пришедшего от царей, князей, недостойных, льстивых архипастырей и пастырей, поэтому еще в детстве понял пишущий эти строки необходимость обновления в духе Евангелия, апостольских преданий, святых отцов.

Владимир Сергеевич Соловьев еще в ранней юности Аркадия разъяснил своему нижайшему ученику, приникавшему к его страницам, что Церковь Вселенская и Единая.

И надо, чтоб соединились два великих апостольских древа – католическая и православная церкви. А затем соединили бы с собой и другие отломленные ветви: англиканскую, лютеранскую, баптистскую, адвентистскую и другие общины, – Церковь должна принять их с любовью, восполнив то, что им не достает: таинства, иерархию, мистическое делание, в то же время приняв с благодарностью все ценное, что у них есть: мистический порыв ко Христу, братскую любовь, трезвенность духовную, исповедническую крепость, нравственную чистоту.

При всех условиях, при всех извивах Аркадия Левушина, для него несомненным был Христос и один лишь Христос.

В плане религиозном Аркадий Левушин не был искателем в полном смысле этого слова, ибо уже в раннем детстве, самом раннем, искал и нашел.

Иначе обстояло дело в плане политичсском. Аркадий Левушин никогда не мог примириться с тем, что Евангелие само по себе, а жизнь сама по себе.

Он жаждал воплотить христианские идеалы. Евангелие в жизнь. И прежде всего в политическую жизнь. С самого начала он знал, что нет правды в сталинском режиме, основанном на грубом насилии, лжи, примитивизме, который внедряется в головы людей с детского возраста. Нет правды и в его антиподе, близком и далеком – в фашизме, еще более зверском и глупом, чем российский коммунизм – с его расизмом, культом грубой силы, открытой тиранией без всяких фиговых листов.

Не было правды и в царском режиме, память о котором еще не изгладилась в умах некоторых людей, по котором еще вздыхали старики. Ибо все там основывалось на неравенстве, сословности, абсурдном наследственном принципе, на обожествлении даже не вождя, а посредственной, иной раз дегенеративной и преступной личности, которая кощунственно наименовалась Помазанником Божиим.

Мальчишка Аркадий поэтому искал в другом направлении. Еще в 15 лет он объявил себя христианским социалистом, затем он сблизился с остатками эсеровской партии и, наконец, одно время он был близок к троцкистам. Для того, чтобы в старости стать так называемым "диссидентом", активным участником движения 60-х, 70-х годов.

Но на беду был он всегда страшным индивидуалистом, не мог раствориться никогда и ни в чем.

Но уходя, в конце жизни, четко и ясно формулирует свою позицию:

1) Вера в Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, Бога и Человека, родившегося несказанно от Пречистой, Благодатной, Чудесной Матери.

Учившего, страдавшего, погребенного и реально, без всяких метафор или иносказаний, воскресшего просветленным и обновленным телом из мертвых в третий день, и вознесшегося перед учениками в заоблачные дали. И пребывающего непрестанно, неложно, реально с любящими Его. И вера в Единого, бездонного, безграничного Бога, раскрывающегося в Троице: в Отце, Сыне, и в Духе святом, Господе Животворящем.

2) И глубокое убеждение в том, что Правда должна восторжествовать над ложью. Человек должен преодолеть власть денег, соблазн роскоши и богатства, – и человеконенавистническую, неограниченную, единоличную власть, – власть царей, князей, партийной элиты или элиты богачей и диктаторов.

3) Великим идеалом является создание единой всемирной общины, в которой должны потонуть национальные различия, должны быть стерты политические границы, классовые различия. Неограниченные возможности для талантов. Все необходимое всем, но никакой роскоши. К чорту роскошь! На фуй ожирение! Строй общинный, но да здравствует индивидуальность. Община только во взаимной помощи. И называется это социализмом.

Хорошее слово! Доброе слово! Освященное в "Деяниях апостолов".

Оранное на весь мир Сен-Симоном и Фурье, Ламенне и Лакордером, обоснованное, хоть и испорченное Кырлой Мырлой и его веселым дружком Энгельсом.

И никто не виноват, что опоганили его потом новые инквизиторы: сначала фанатики – Ленин и Троцкий, а потом палачи и бандиты – Сталин и его ученики.

И снова детский вопрос: "Что такое хорошо, что такое плохо?" Ответ один – хорошо то, что в Евангелии – учение Христа.

Поэтому этот строй должен быть *христианским социализмом*. Так поставлен вопрос: или царство зверей – с господством ублюдков, толстосумов, золотого мешка, партбилета – или Христово слово. Ничего третьего не дано.

Да и не может быть третьего. Если нет в людях любви друг к другу, если владеет людьми страсть к богатству, честолюбие, стремление к превосходству – тогда всемирный бардак, всемирный застенок, всемирное Гестапо или КГБ.

4) Но лучший строй – может быть достигнут только в борьбе, борьбе жестокой, тяжкой и трудной.

Только в борьбе, и ни в чем больше. Уж очень любят люди деньги, богатство, власть. Власть и деньги! Деньги и власть!

Не легко расстаются с этим – любые средства, любые теории, любые красивые слова, чтоб были

власть и деньги. Шовинизм, консерватизм, любые подачки, любой обман, любой театр. Только бы деньги и власть.

И со всем этим надо вести борьбу – разоблачать, срывать мишуру, воевать. Но не надо выплескивать из ванны вместе с водой ребенка!

Шовинизм – главный враг братского соединения людей не смешивать с патриотизмом.

Любовь к своему народу – желание видеть его счастливым, свободным, преуспевающим в добре, в науке, в знаниях, в вере, – святое чувство!

Неприятие богатства, но уважение к труду земледельца, труду, который должен быть индивидуальным, кропотливым, филигранным. Крестьянин должен любить землю, политую его потом, – передавать ее из рода в род. Община – взаимная помощь, поддержка, – но и земельная собственность тружеников (в определенных рамках). И любовь к своему ремеслу, и возможность продавать изделия своего труда, честная торговля тем, что добыто мною в труде. Ренан вполне прав, когда говорит, что честный ремесленник, труженик является идеалом для апостола Павла.

А какой может быть другой идеал?

Толстопузый буржуа или вождь с оперными жестами, которыми он морочит дураков?

5) Любовь. Но и гнев.

"Господь меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь.

И Он десницею святою
Мне указал правдивый путь".

Но что такое священный гнев? В индивидуальном плане – это обличение, огненное слово, слово правды.

В плане общественном – это революция. Сопротивление классов старых и новых: буржуазии и советских нуворишей будет столь ожесточенным, что преобразование мира невозможно без революции. И в ближайшем будущем – восстание обездоленных и закабаленных против неправедной власти.

Нужно ли насилие? Нужно. Но не жестокость. Не людоедство. Не садизм.

6) Ближе всего и правильнее всего разрешила этот вопрос русская партия социалистов-революционеров. Она отказалась от материалистического учения ранних предшественников – Чернышевского и других, – проповедывала бескорыстие, героизм, самоотверженность. Хотя порой в борьбе и переходила границы нравственных дозволенного и не отказывалась от зверских методов. В миниатюре – это мы видим в лице Корнея и отчасти пишущего эти строки.

Увы! Такие крайности иной раз неизбежны. Воссоздание великой партии, по возможности без таких методов, является неотложной задачей русских людей на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. И в этом ключ к политическому возрождению. Под животворным солнцем некрасовской

поэзии, под критически освоенным учением Лаврова и Михайловского – священников-народников: отца Григория Петрова, Епископа Михаила Семенова, Епископа Антонина Грановского, вдохновленные героическим примером великих борцов: Екатерины Брешко-Брешковской и Веры Фигнер, великих узников Шлиссельбурга, самоотверженных Сазонова и Каляева, великих организаторов Гоца и Гершуни – русская молодежь должна совершить на рубеже двух веков новую, невиданную в мире революцию. Никакой власти богатеям и диктаторам, насильникам и бюрократам. Вся земля принадлежит работягам. И полная свобода творить! Полная воля!

Во Всем: в политической жизни, в литературе, в искусстве, в религиозных и философских исканиях.

Земля и воля!

В борьбе обретешь ты право свое!

Франкфурт-на-Майне
22-24 ноября 1981 г.

ГОСПОДЬ – МОЯ НЕСОКРУШИМАЯ КРЕПОСТЬ

Кто ты? С таким вопросом обращались и обращаются ко мне многие, и не получая ответа, сами отвечают за меня. И так как большинство отвечающих видят во мне своего антагониста, то ответы подаются по следующему принципу: каждый хочет заклеймить меня самым ругательным для себя словом.

Все коммунисты и атеисты считали меня всегда воинствующим реакционером и мракобесом. Реакционеры и мракобесы — коммунистом и почти безбожником. Все церковники — сектантом. Все сектанты — церковником. Все тихоновцы меня всегда считали самым отъявленным обновленцем. Все обновленцы, начиная с А.И.Введенского, меня всегда считали отъявленным тихоновцем ("насквозь пропитанным монашеской идеологией").

Все невежды меня всегда считали интеллигентом. Все интеллигенты — изгоем из своей среды и пролетарием. Все русские — евреем; все евреи русским и даже антисемитом. И решительно все, всегда считали меня каким-то полуфутуристом.

В чем причины столь странного отношения к моей личности? Невольно возникает литературная аналогия. В романе "Анна Каренина" есть такой персонаж — княгиня Мягкая, которая пользуется в салонах репутацией весьма экстравагантной особы. Экстра-

вагантность ее выражается в том, что она говорила "не совсем лишенные смысла вещи". В том обществе это производило впечатление самой остроумной шутки — замечает Лев Толстой. Так и моя футуристичность выражается в том, что я иногда говорю не совсем лишенные смысла вещи. В современной России, затуманенной догматическим туманом, отравленной схоластикой, разделенной искусственными перегородками (атеисты, церковники, сектанты), — это производит впечатление разорвавшейся бомбы.

Я тоже иногда говорю вещи не совсем лишенные правды, а так как правда глаза колет, то в ответ раздаются выкрики ненависти и злобы... "Это — открытый враг", "ему голову надо свернуть", "его грязные статьи", "его надо держать за тремя решетками, я бы этого попика посадил бы и никогда не выпускал" — такие комплименты раздаются по моему адресу (я это знаю точно) в кругах работников КГБ. Беда лишь в том, что руки у них пока коротки. "Враг церкви", "агент безбожников", "раскольник", "с присущей евреям изворотливостью" — таковы любезности, которые долетают до меня из церковных кругов.

Все эти противоречивые толки, однако, порождают недоумение, и все чаще и чаще у меня спрашивают: кто ты?

И я отвечаю...

Как-то в лагере один мой приятель, врач, спросил меня, почему я стал верующим человеком. В ответ я разлился соловьем и произнес целую апологетическую тираду. Врач мне ответил: "Все это чепуха. Вы мне совершенно не ответили на вопрос. Когда вы, мальчишкой, бегали по церквам и монастырям, вы понятия не имели ни об Эйнштейне, ни о теории относительности, ни о физическом идеализме. Значит, дело совсем не в этом". Я замолчал. Он был совершенно прав. В основе всякого мировоззрения лежит

чувство и только чувство, аргументы приходят уже потом.

Поэтому я не буду ничего обосновывать, ничего защищать. Расскажу о своих чувствах. Эти чувства складываются в три комплекса: "Моя религия", "Мой социализм", "Моя Россия". Коротко рассказав о своих чувствах, может быть, отвечу на вопрос: кто я такой?

1. Моя религия. С детства я узнал о Боге и тянулся к нему. Что меня влекло к Богу? Его всемогущество? Нет. Оно не производило на меня особого впечатления. Я и так знал, что я зависим от всех и вся, начиная с моего строгого папаши и кончая природой.

Его святость, справедливость, правда? Но что понимает во всем этом мальчишка пяти-шести лет?

Бога я воспринимал всегда в образе Христа. Христа я любил бесконечно и привык в нем видеть друга, брата, старшего товарища. Сравнение точно. Я относился в детстве к Христу так, как обычно мальчишки относятся к старшему брату, восхищался Его подвигами, был влюблен в Него влюбленностью ребенка, гордился Его победой, огорчался Его страданиями, и твердо знал: как бы то ни было, Он в обиду не даст, Он всегда и везде со мной. Он — моя несокрушимая крепость.

Торжественная фраза, поставленная мной во главе этого очерка, не имела для меня ничего торжественного, наоборот, она была для меня будничной, обыкновенной, само собой разумеющейся.

Это интимное, ребяческое, почти фамильярное отношение к Христу осталось у меня на всю жизнь. Я всегда, в самые тяжелые времена, чувствовал мощную руку Друга — Друг никогда не покидал меня. Уже потом я стал пристальнее вглядываться в лицо Друга. Я увидел, что то не лицо, а Лик. И я увидел Правду, великий гнев, любовь Божию. Тогда я почувствовал и страх за свое недостоинство.

С раннего детства я ходил в церковь, как ходят в гости к другу, — и причащаясь, чувствовал с влюбленным трепетом приближение Друга. Я любил Божию Матерь за то, что она родила мне Друга, и любил святых за то, что они друзья моего Друга. Так мальчишки любят товарищей старшего брата, таких мужественных, умных и сильных, почти как сам старший брат. Таково же было мое отношение к священникам. До 15-ти лет я их всех обожал, видя в них друзей Друга, пока не понял, что не все они Его друзья. Таким образом, я с детства привык жить с Христом и в Его церкви.

Уже с семи лет я был помешан на религиозных спорах. Я спорил с отцом и с матерью, и с учителями, и с пионерами, и с комсомольцами — товарищами по школе, всюду и везде отстаивая Друга, и видел, что Друг мой и вправду сильнее и всех и вся. И бледнели и меркли тусклые лампы человеческой неправды перед солнцем Правды моего небесного Друга.

2. Мой социализм. До чего я всегда не любил всякое начальство; не любил я учителей, и директора школы, и министров, и архиереев, и царей, и генералов, и милиционеров. И Сталина и всех и всевозможных властителей. Всякое напыщенное, надутое, земное величие мне казалось всегда невереятно смешным, а его носители чем-то средним между колдунами и сумасшедшими. Я боялся их, как боятся сумасшедших, и от души смеялся над ними, как смеются над паяцами. И с детства мне были противны все и всякие перегородки, придуманные людьми.

Помню, мы с отцом были раз в театре; там мы увидели офицера (тогда они назывались командирами) -китайца с русской женщиной. Отец возмутился: "Подумать только какая стерва! Связалась с китайцем". Неожиданно я стал спорить с отцом и защищать китайцев ("разве они не такие же люди?").

"Ну ладно, полно философствовать!" сказал отец.

И я понял, что отцу возражать нечего. Уже с тех пор я понял, что все люди равны. И уже в детстве я был эмоциональным социалистом. В социализме мне больше всего нравилась мысль об отмирании государства, о его полном уничтожении, о равенстве и братстве всех людей. Неутомимый спорщик, страдающий отроческим нигилизмом, я был сторонником революции, но всегда с отвращением относился к ее зверствам. Я чувствовал, что мой Друг их не одобряет. И он действительно не одобрял их.

3. Моя Россия. Национальный вопрос ворвался в мое детство. Как сказано выше, я наполовину еврей. Однако, мать у меня — яростная антисемитка, а отец — человек, страшно не любивший вспоминать о своей национальности, рассказывающий еврейские анекдоты и называющий евреев жидами, и в то же время обожавший свою мать-еврейку. Я также любил бабушку — и эта моя любовь к бабушке была моей единственной связью с евреями. Остальных евреев я не любил, они всегда были страшно далеки от моего Друга. Не любил я и русских интеллигентов, и всегда чувствовал их глубоко мне чуждыми и неинтересными. Но обожал прислуг, нянек и тех, кто приходил к ним в гости, — солдатиков-ухажеров, мужичков-землячков, подруг — деревенских девушек. Так родилась еще в детстве любовь к России, к русским простым людям.

Уже много позже я понял великую трагедию еврейского народа и научился этот народ уважать. Но чувство родства осталось лишь к русским простым людям (интеллигентов я так и не полюбил, никаких — ни интеллигентов старой формации, настоящих, переученных, ни новых, недоученных).

И потому Россия — Россия родная, добрая, теплая, простая, — и осталась у меня в душе. Эта Россия — как-то близка к Другу, справедлива, любвеобильна и ничего не имеет общего с государственными чино-

вниками, лживыми, бездушными и пустыми.

Говоря о себе, я не случайно обратился к детству. В детстве человек живет чувствами; в детстве закладывается эмоциональная основа человеческого бытия. К сожалению или к счастью (уж я не знаю), я почти не изменился с детства. Я Верю в Христа — Бога и Человека, Божественного Друга людей. Я верю в Церковь — это мистическое содружество живых и умерших друзей Христовых. Я стремлюсь к Преображению мира. И одним из подступов к нему считаю такое время (социализм или что-то другое, — дело же не в названии), когда исчезнет всякое насилие над людьми и всякое государство. Я конечно, понимаю, что невозможно сейчас отменить государств; однако возможно его ограничить его естественными функциями. И путем к этому является демократия, подконтрольность государства народу.

Я кратко выразил свое мировоззрение. Может быть, после этого станет понятно, кто я такой. Христианин, социалист, демократ...

Осталось сказать лишь несколько слов о Церкви. Выше я говорил о своей нелюбви ко всякому напыщенному, надутому, земному величию. Это относится и к церковной иерархии. Я готов ее уважать и ей подчиняться, если она будет руководствоваться Духом Христовым; если же единственным ее отличием от всех остальных чиновников являются митры и омфоры, то и отношение к ней такое же, как к любой чиновничьей касте. Этим и объясняется моя резкая полемика с князьями церкви.

В лагере я видел сон: я ехал в лодке посреди Невы ночью, на небе было много звезд. Я вышел из лодки и пошел босыми ногами по водам; ощущение было столь реально, что я до сих пор помню прикосновение прохладной влаги к ногам и мелькнувшую мысль: "Как же я не тону? Ведь здесь, верно, три че-

ловеческих роста". А потом я вышел к берегу. И Кто-то, не видный в темноте, подал мне руку.

И я ощущаю эту протянутую руку в своей руке, руку Друга.

9-го октября 1966 года. Москва.

И этими словами, написанными 17 лет тому назад, но сохранившими для меня всю свою актуальность, я заканчиваю эту книгу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ΔK·83